АСЕЕВ

3

# АСЕЕВ




ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

# НИКОЛАЙ АСЕЕВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## В 5 ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1964

НИКОЛАЙ

# АСЕЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

1930 • 1941

P2
A90

# Стихотворения

# Большой читатель
## 1932

### БОЛЬШОЙ ЧИТАТЕЛЬ

1

Все, чем я дышу,
все, что я пишу
кстати или некстати,
волосы теребя, —
все это о тебе,
все это для тебя,
друг мой, Большой читатель.
Ближе — меж нас меж двух —
больше не встанет друг,
и — ни родни, ни брата...
Волосы теребя,
нечего мне от тебя
ни укрывать, ни прятать.
Прислушайся ж ко всему,
голосу моему —
не к вылущенной цитате!
К опыту моей седины
пыл свой присоедини,
друг мой, Большой читатель.

2

Страна в родовых напрягается схватках,
и ей, изо всех молодых матерей,
во всех ее пóрах — в Калугах и Вятках —
пора горячий пот утереть.
Страна в родовых сотрясается муках,
и только то ей подсобно в речи
(и бóльше ни слова, и громче ни звука),
что может тяжесть ее облегчить.

3

Могуч и красив
Урала массив —
в два мира уперся пятою.
Улегся, ленив,
ветра заслонив
тяжелой своей высотою.
Придавил непомерною гирей
яркоснежную зелень Сибири.

4

От избы — сто верст изба,
от руки — сто дней рука.
Но встает из снов Кузбасс —
малолетний великан:
зарыт в снегах по пояс,
стоит молотобоец.
Голос Кузбасса —
сумрачный бас
молотом — бац! —
и гора начнет колебаться.

**5**

Елок игла
и сосен кора,
меж сосен и елок
легла Ангара.
Вдвое и втрое
перед звонкой сестрой
может отстать,
уступив, Днепрострой.
И там, где шныряют белки юркие,
там — *база черной металлургии.*

**6**

Стой и глаза кругли,
какие в Сибири угли:
без зольности, сернистости, —
глядите сами,
как в яркости, в неистовстве
клокочет пламя.
Сравняться в силе не с кем им,
проделан опыт:
скорее, чем донецкими,
снега растопит.

**7**

А дальше, где синь
и где сопок груды,
мерцает цинк
и цветные руды.
И каждым дальним уголком
быть должен занят Геолком,
так как там,
где цепи бренчали,
все лежит,
как лежало вначале.

И нету путей,
и нету дорог
шагнуть стране
за уральский порог.

**8**

Нет, есть дороги —
до недотроги!
Начало есть крутому сдвигу.
Большой читатель — впереди.
Возьми Сибирь — большую книгу —
и твердым ногтем прочерти
ее дороги и пути.

*1930*

## СТРАНА ЕГО ЗНАЕТ

Вначале это казалось —
позой,
так призрачно длинен
был он
и худ.
Казалось, что это —
лишь тень завхоза,
виденье,
пригрезившееся стиху.
Секунду
он напоминал Дон Кихота:
так выцвел
его балахон дождевой;
но через секунду —
пропала охота
с героями прошлого
близить его.
Вначале
собрание глухо молчало,
сурово и скупо
губы поджав:
«Пускай-де
другие жуют мочалу,
кому под хвост
попала вожжа».
Совхоз был молод.
Кругом — неполадки.
Забот не отгонишь,
как с меда осу.

Пропольная —
недополоты грядки,
а тут уж
уборочная на носу!
Но главное —
это были подошвы:
сабо деревянным французов
родня.
Какой-то парень,
в прениях дошлый,
вступил ими
прямо в порядок дня:
«Я хотя
не избалован,
но,
конечно,
так сужу,
и,
конечно,
о столовой
я,
конечно,
не скажу.
Жизнь,
конечно,
нам не пряник,
но,
конечно,
мы в пути,
на подметках
деревянных
нам,
конечно ж,
не уйти!»
Хоть речь его
явно была кособока,
но парень
давился ей из нутра.
Собранье дышало
с чувством,
глубоко,

готовясь слушать
его до утра...
Тогда на сцену
взлетела персона,
от гнева дыханье
спирая в зобу.
(В какой костюмерной
перелицована?)
Кумач по колено.
Стрижен в скобу.
«Товарищи!
Принципиально...
Конкретно...
Определенно...
Прогульщик и рвач...
Мы дело имеем
с замашкой зловредной...
Фашизм мировой!..» —
надрывался кумач.
Собрание
вновь опало,
как дрожжи,
смотрело
в ревущую лозунгов пасть,
сводило брови
все строже
и строже
и ждало
художественную часть.
Когда ж воззвал он,
кончая,
к гласности,
совхозная холка
была мокра;
в углах толковали
про разные разности;
теснились к проходу;
синела махра.
Вот тут он
и вырос.
Сухой, как стержень

в степи,
в бездождье —
за шалашом,
тройным упорством
скручен и сдержан,
тройным загаром
зашелушен.
Ни слово,
ни образ
в губах не измято.
Все стихло
минуты за полторы...
По залу пахнуло
июлем
и мятой —
нешуточным жаром
рабочей поры.
От слов его крупных
и разгоряченных
собрание
тихо входило
в азарт:
«Товарищи!
Наш совхоз,
как грачонок,
голым родился
полгода назад!
Чего у нас было? —
Тын да пустошь,
да инвентаря
на гнутый пятак.
А нынче —
покрывшая пустошь
капуста
зовет нас
на следующий этап.
Мы обеспечились
мануфактурой.
Картофлекопалка у нас —
на ходу.

Похоже ли это
на хилый да хмурый
вид на нас
в прошедшем году?!
Теперь о подошвах.
Кто стал сомневаться,
что жизнь не сразу
в совхозе сладка, —
чего ж он желает?
Пятьсот восемнадцать
и тысячу сорок
пустите с лотка?
Вот у меня их
тоже пятеро
было —
собственных цыганят.
Разве рука моя —
труд не тратила,
силу скупилась
на них загонять?
Те —
ведь тоже еще —
не добытчики,
поднять их с земли —
поистратишь рубля.
Они
по свойственной росту
привычке
пока умеют
лишь потреблять.
Без пищи
пойди взрасти их,
попробуй!
Чтоб сила росла их
крепка и цела,
в первую очередь —
харч и обувь
надо им
туда посылать.
На жизнь гляди
не только с изнанки.

Пускай они
за полы нас теребят.
Взрастим стране!
Поставим на ноги
пятьсот восемнадцать
железных
ребят».
Зал приумолк,
как под тучею роща, —
да вдруг
как хлынет
ливнем ладош,
и сразу —
лица теплее
и проще, —
проникши в суть
деревянных подошв.
Иной читатель
качнет головою:
«Где взять, мол,
такого
и как величать?»
Недалеко.
Совсем под Москвою.
В совхозе
имени Владимира Ильича.
Но адрес — не важен.
Страна его знает:
у домен в жару
и в страде полевой,
в любом направленье —
бригада сквозная —
от Кремля —
до него!

*1931*

## В ПОВЕСТКУ МЮДОВЦАМ

Семнадцать —
это не просто юноша,
это —
подросший уже
рабочий.
Суровей лицо молодое,
осунувшись,
и близостью зрелости
взгляд озабочен.
Товарищ!
Прости мне
привычку поэтскую,
не мне размягчать тебя
лирики ленью,
но дай,
наклонясь над твоею повесткою,
минуту
на светлое размышленье.
Я вижу тебя —
не юношей розовеньким,
пришедшим
к экзаменному ответу, —
твои боевые
песни и лозунги
гремят сегодня
по целому свету.
Я вижу:
лишь там
настоящая молодость,

что строится всюду
сегодня в колонны,
что сбита ударами
мощного молота
из лавы
рабочих сердец
раскаленной.
Я знаю:
лучшие в мире красавицы,
кому
советское знамя —
отчизна,
которыми
метче гранаты бросаются
в ощеренные маски
фашизма!
Обычно
люди стареют от многого,
в масштабы копеечных мыслей
забиты:
от мелкой заботы
за личное логово,
от зависти,
скуки,
от горькой обиды.
Но разве
когда-нибудь,
кто-нибудь видывал
для невооруженного
взгляда простого —
в лице поколения —
столько открытого,
такого большого
у жизни
простора?
И разве
встречались когда в человечестве —
сравни
на десятую долю хотя бы —
такой беспредельности
и широкоплечести

дела,
размышленья,
пути
и масштабы?
Я вижу —
и это не может почудиться, —
земля каруселит
недаром столетья —
ее опояшут колоннами
мюдовцы,
встряхнут
и не позволят стареть ей!

*1931*

## АЗЕРБАЙДЖАН ЗА СОБОЙ ЗОВЕТ — ЕМУ ОТКЛИКАЕТСЯ ЭЛЕКТРОЗАВОД

Сегодня
на юг Союза кинься,
песня и глаз
советских широт:
сегодня рванулись,
уйдя,
бакинцы
на два с половиной года
вперед!
Если
в недавних годах
порыться, —
что это бьет,
фонтаном шумя?
Это твоя кровь,
Джапаридзе,
твоя
струится вверх,
Шаумян.
Это она
спешит к турбинам,
землю взрывая:
«Пусти!» —
английским
отцеженная карабином, —
кровь
двадцати шести.

Это она,
впитая нехотя
сушью
тоски земной,
растет
раскидистой радугой нефти,
ведет и зовет:
«За мной!»
За мной —
живить
пески Кара-Кума,
копры нашей стройки
вонзя!
За мной!
В столетья!
Докажем врагу мы,
что жизнь
истребить нельзя.
За мной,
взметясь,
поднимись и кинься,
товарищ
земных широт!
За мной,
за горючею кровью
бакинцев
на два с половиной столетья
вперед!

*1931*

## ДНИПРОБУД

### 1

Когда
Днепрострой достроят
над влажной рябью и дрожью,
и станет
Москвы сестрою
Великое Запорожье;
когда
зажужжат комбайны,
и ток побежит исправно
туда, где морды кабаньи
высовывались из плавней;
когда
заревут турбины,
покрывши
Днепра горбины,
и вскинут и снизят грузы
тройные ладони шлюза;
когда —
еще только тени,
каркас еще лишь и остов —
алюминиевый
и литейный
достигнут полного роста, —
тогда
разглядись, потомок,
на свет человечьего чуда:
где в каменник
древних потемок

врыт
памятник Днипробуда.
Плотина,
плотина,
плотина,
тебя бы нам лишь дождаться:
одна уже ты
оплатила
расходы войны гражданской.
Бычки, говорите?
Вряд ли!
И слон перед ними — ребенком.
Днепровские
желтые патлы
бетонной чешут гребенкой.
Светись же,
сияй и порскай —
реальная и нагая,
всей силой
волны днепровской
нам
дальше плыть помогая!

**2**

Я читал старинную быль —
время,
стершееся, как пыль...
И над былью —
казак Пылай:
молод глаз —
голова бела.
Он был сонным взят
при костре;
приговорен был
под расстрел...
Так ли запросто,
по суду ли,
королю
он послал цидулю.

В той цидуле
казак сказал:
«Мой батько
на колу сползал;
мой дидусь
не скулил, не плакал,
как его
натянули на кол.
Не позорь меня
легким концом,
не хочу
захрипеть под свинцом.
Я хочу
в мою длинную смерть
долго-долго,
как в воду,
смотреть.
Не собака я,
не свинья,
чтоб свинцом
простегнуть меня.
Я хочу
в свою синюю смерть
долго-долго,
как в воду,
смотреть.
Не в обиду,
не в похвалу —
не вскричу,
стерплю на колу!»
Так загинул
казак Пылай:
молод глаз —
голова бела.

3

Может, это
оттуда —
усмешка упорства и воли?

Может, это
оттуда —
безмерная радость борьбы?
Может, это
оттуда —
бесстрашье к лишеньям и боли
и бестрепетный
выбор судьбы?
Это та же
тугая,
людская,
безмерная сила,
трансформатором партии
взятая в оборот,
напрягла свои жилы
и твердые брови скосила,
но не в смерть свою смотрит,
а жизнь свою
гонит вперед!
Голоса недоверков
взнывают все реже и реже,
и история
медленно
переворачивает листы.
Над перуньей волною
на Лево-
и Правобережье
загораются будущим светом
две новых звезды.

**4**

Неуемной энергией дерриков,
визгом сверл «сандерсона»
правый берег — левым берегом
заинтересован.
Отойди, беги, пади!
Здесь зевак не любят.
Птицей Рок летят бадьи
над днепровской глубью.

Здесь ложится вглубь бетон,
плотно утрамбован
человеческой пятой
Тулы да Тамбова.
Здесь живут, поют, гремят, —
не по нраву — смойся!
На буксир берут ребят
песни комсомольцев:
«Идет страна-ударница,
кругом — враги.
Не отставать, не стариться
ей помоги.
Заводами и штольнями —
громад семьей, —
давайте быть достойными
движения ее.
Пусть каждая профессия
и каждый вид труда
поднимет грозно-весело
отчетные года.
Чтоб враз была развеяна
вся вражеская мразь,
чтоб крепких рук конвейером
добыча поднялась.
Идет страна-ударница,
шаги — года.
Не отставать, не стариться
нигде и никогда!»
Неуемной энергией дерриков,
визгом сверл «сандерсона»
левый берег — правым берегом
заинтересован.
Кто ушел, уплыл, урвал, —
самостроем грейся,
не мешай вращать штурвал
мирового рейса.
Загораживала путь
нам скала Дурная;
спину ей пришлось свернуть,
взрывами карная.

Так и слизь глухих глубин
будет в дым расплющена.
Первой изо всех турбин
«Комсомолка» пущена!

**5**

Два Днепра текут пред нами:
тот,
    которым плыл Перун;
и меж нашими меж днями —
тот,
    который льнет к перу.
Без перунов,
                без бурунов —
не в нужду,
                не в похвалу, —
льющий ток в электроструны,
не погибший
                на колу.
До плотины Днипрельстана,
до высокой городьбы,
непреклонно,
                непрестанно
шагом
        классовой
                борьбы!

*1931*

## ВОРОТЯТ ГУБУ ДОВОЕННЫЕ ПЕШКИ НА МУСОР НАШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕШКИ

Тротуар окипает
людскою кашей,
на трамвайных подножках
гроздья висят.
Это —
спешит,
поторапливается каждый,
это —
республика движется вся.
Люди стали
смелей и грубее.
Теснее колхоз,
завод,
район.
Так, советские!
Жми не робея,
крепче отстаивай
место свое!
Довоенную мягкость
страна потеряла.
Дела —
полноводьем у каждого рта.
Людей,
машин,
сырья,
матерьяла
настойчиво требует
каждый квартал.

Мусор,
щебень,
свежие планки,
бетонные стойки,
железный лязг.
Ты скажешь:
Америка,
новые янки!
Нет!
Другой тут
и вкус
и глаз.
Там
прорезали
простор океанный
банды отпетых
громил и рвачей.
Здесь
переделывают
мир окаянный
собственнических
мелочей.
Там
перещупывались
их ватаги,
в ребрах ножами
ища пустот.
Здесь
потому ножей не хватает,
что потребность
в комбайнах растет.
Вы,
обвиняющие нас в пропаганде,
хрипящие
от наших идейных простуд,
смотрите,
как за гигантом гиганты
за счет этих
мелких нехваток
растут.

Кто там орет
про советский демпинг,
с вершин экономики
к пропасти мчась,
тем бы почувствовать
эти темпы,
какие не словит
и лучший джаз!
Сдуревшим
от кризисных мотаний,
потерявшим
крепость зубов коренных,
понять ли,
что идеи
не провозят в чемодане,
что идеи растут
из условий страны?!
Мы торопимся,
мчимся,
рвемся на части,
так что сердце
не поспевает в груди,
но это и есть
наше новое счастье —
быть человечества
впереди.
Потерявшим к жизни
остатки вкуса
не увидеть
из-за прозрачнейших линз,
что мы,
несмотря
на грязь
и на мусор,
уже вступили
в социализм!

*1930*

## УДАРНИКИ

Все налицо?!
Все налицо!
Дай колесо!
Есть колесо!
Раз, два,
раз, два!
Живей, братва!

Лейся, чугун,
плавься, чугун!
Дай помогу!
Стань к рычагу!
Раз, два,
раз, два!
Дружней, братва!

Эх, хороши,
вот хороши
гайки машин,
шайбы машин!
Раз, два,
раз, два!
Бодрей, братва!

Дядя Васей,
дядя Мосей,
больше осей,
крепче осей!

Раз, два,
раз, два!
Тесней, братва!

Дело не ждет,
дело не мрет.
Круче, сильней
дней оборот.
Раз, два,
раз, два!
Ладней, братва!

Смена, идешь?
Смена, иду!
Перенимай
станки на ходу.
Раз, два,
раз, два!
Ловчей, братва!

Кто там устал?
Стал в уголок?
Бей уголек!
Дай уголек!
Раз, два,
раз, два!
Не сдай, братва!

Уголь и сталь,
уголь и сталь.
Силу не жиль!
Силу не жаль!
Раз, два,
раз, два!
Нажмем, братва!

Круче ходи,
колеса поворот.
Новый годок
стоит у ворот!

Раз, два,
раз, два!
Сильней, братва!

Дядя Семен,
дядя Федот,
дело пошло!
Дело идет!..
Раз, два,
раз, два!
Взялись, братва!

*1930*

## МАРШ

Год
за
годом
пол-
ным
ходом,
год за годом
полным ходом —
далеко,
кати
метко,
пяти-
летка,
кати метко,
пятилетка,
в даль веков!

Эй,
что
стали,
боль-
ше
стали,
эй, что стали,
больше стали,
угля и чугуна!
Дальний
берег —
темп
Америк,

дальний берег —
темп Америк
мчи, перегоняй!

Гля-
        ди
            в оба —
вра-
        жья
                злоба,
гляди в оба —
вражья злоба
окружает нас.
Ни сда-
              ваться,
ни пу-
            гаться,
ни сдаваться,
ни пугаться
не привык наш класс!

Год
      за
          годом
пол-
        ным
                ходом,
год за годом
полным ходом —
к победе впереди!
Кати
         метко
пяти-
         летку,
кати метко
пятилетку,
партия, веди!

*1931*

## К СТАНКАМ!

Стирка,
очередь,
примус,
чадра,
близость
помойного ведра,
штопка,
варка,
унылое бабство,
новая стирка,
утюжье...
Баста!
Товарищ женщина,
не будь бабой!
Сдунь
домашних козявок
тряпье,
басен о том,
что пол твой слабый,
отцепи
от подола репье.
Тусклый
слышен еще хохоток:
«Волос долог —
ум короток!»
Звон бубнит
в пустой голове:

«Курица — не птица,
баба — не человек!»
Вся эта слякоть
еще не забыта
осатанелого
кислого быта.
Он —
дубострой слежалый,
двуспальный,
на зык тупой
поперек становись ему.
Чтоб сбить рога ему,
надо быть материально
независимой.
Ему в упор,
ему вразрез
на штурм безволью,
тоске,
апатии
ведом
единственный
класс-храбрец
генеральной линией
партии.
От кухонь,
лоханок,
смрада
и дыма
пусть
женский труд
призовется
укладов,
привычек,
обычаев мимо —
прямо
на производство.
Довольно забот
над такими вещами,
чтоб чай не скипел
да суп не остыл.

В завод —
на производственное совещание.
В учебу —
на передовые посты.
А тем,
кому старое въелось в ушки,
вбивать для прочистки
такие частушки:
«Колотил по холсту пральник,
погрохатывал рубе́ль.
Я таких понятий крайних,
что с машиной — не глупей.
Не смеши, не пучеглазься, —
хотя талия тонка,
я тебе в рабочем классе
не уважу у станка.
Забирай свою посуду,
если начал попрекать, —
мне семья моя повсюду,
где ударницы бригад.
Не бери меня под мышку,
не впрягайся мерином, —
со своей расчетной книжкой
я хожу уверенно.
Уходя на все четыре,
твердо помните:
не у вас я на квартире —
в своей комнате.
Разогнусь и раздышусь
в этом марте я, —
осмелевши, запишусь
в члены партии.
Стань, семейная страда,
вещью редкою
для свободного труда
с пятилеткою».
Вот вам в ответ
на беззубые шутки,
новые лозунги —
прибаутки:

«Женщина — не птица,
мужчина — не гусак.
Мудрость и мужество
растут не в усах».
«Борода густа —
не видать уста.
А рот раскрыл —
голова пуста!»
Конец
грязям,
чадам,
сковородкам!
Конец
чадрам,
паранджам,
приданым!
Обяжемся сроком
самым коротким
в женском равенстве
долгожданном.
От дрязг домашней коросты
свобо́днясь,
от перегорелой
кухонной скуки,
миллион шестьсот тысяч
женщин-работниц
к фронтам пятилетки —
вплотную руки!

*1930*

## ВЛАДИМИРСКИЙ ТРАКТ

### 1

Были:
каторга, цепи, централы,
бессрочная тьма...
Свод законов
Российской империи
дыбил тома.
В непролазных ночах
не мерещилось света ни зги,
но сходились в кружки,
и печатались тайно листки.
Проследили,
узнали,
забрали —
пропал без следа.
Лишь по тракту
железом легла
ледяная слюда.
Самодержцев зады
чередой восседали на трон.
Бунтовщицкую тень
сторожил запотелый патрон,
и — одних усмирял он,
другой — от тоски умирал:
не снижаясь числом,
на бушлатах росли номера.

Заковали,
схватили,
угнали —
пропал без следа.
И уже —
не трудом одиночек
долбилась руда.
Пусть плохая работа
и туп обесславленный труд
в глубине одичалых,
нависших отчаяньем груд.
Не на тройках в унос,
а разлавленной леей потек
политических ссыльных
густой
пешеходный поток.
Если б глушь была вдвое
и тишь была вдвое —
и та б
всколыхнулась,
устав провожать
за этапом этап.
Тяжко-тяжко темнели
в кандальных руках пятаки,
тускло-тускло звенели,
цепляясь,
конвоя штыки.
Заковали,
схватили,
угнали —
пропал без следа.
Нет!
Следы отпечатались
в сердце страны
навсегда.
И,
затерян впотьмах
и зализан в шершавых ветрах,
белым шрамом кандальным
простерся
Владимирский тракт.

2

Дует ветер сиверко
из-за тех веков,
была-жила Владимирка
до большевиков.
Летели тройки-турманы,
гудели провода,
темнели в небе тюрьмами
глухие города.
Сквозь сумрак азиатский,
иные времена
в шоссе Энтузиастов
разделана она...
Была непроходимой
сейчас же под Москвой,
чернела на Владимир
безвыходной тоской.
Вилась ползучей гадиной
в дыму глухих костров...
А нынче — в пух укатанной
ведет на Автострой.
И дальше до Урала,
где ворох света взвит,
дорога потеряла
свой прежний смысл и вид.
Не видеть ей бы блеска
такого на веку
до самого Кузнецка,
на самый на Якутск.
Сиял бы месяц слабо,
берложил бы медведь...
Где старая Челяба? —
Таежник, мне ответь.
Где трубецкие тройки? —
На этом на пути
упорный рокот стройки
во всю Сибирь гудит.
Далекая дорога!

Великий долгий путь —
от царского острога
сюда перемахнуть.
Века перегоняя
с этапа на этап —
строительства огнями
ведет свой путь Октябрь.

*1931*

## СТАРЫЙ ТОВАРИЩ

Вот этот самый
человек
и этот самый
пулемет
перевернули
давний век
на
ныне празднуемый
год.
Теперь
история — проста,
ясна
отдельных дней
печать,
но было —
с белого листа
им суждено
ее начать.
В Кремле
засели юнкера,
которых
оттеснили в центр...
Как будто
все это — вчера:
ряд эпизодов,
фактов,
сцен.
Окраинами
решен вопрос:

районы
голосуют бой,
и город
сумрачно оброс
в ряды
винтовок и обойм.
В железнодорожных
мастерских
пусты станки,
стоят тиски:
почетный пролетарий,
он
винтовку взять
ушел в район.
С веселым сердцем
шли одни
отстаивать
Советов власть;
тайком другие
от родни
шли — победить
или пропасть.
Теперь
история — проста,
ясна
отдельных дней
печать,
но было —
с белого листа
им суждено
ее начать.
И у знакомого
угла
вдруг
стала улица узка,
огромным полем
битв легла
и
волнами пошла
Москва.

На утишение
толпы
идут
какие-то попы;
на усмирение
войны
кадить в Совет
пришли они.
В Совете ж
каждый большевик
дышать на ладан
не привык,
и поджимает
потроха
епитрахильная
труха.
И вот ползет
по Моховой
нехитрый дым
пороховой.
Еще предательски
дерзки
жильцы
Никитских
и Тверских.
Позорно
белые хитрят,
позорно подл
и низок враг...
Красногвардейский
шел отряд
и видит —
белый взвился флаг.
Отряд к нему
к лицу лицом,
поверив в сдачу
без вреда,
и вдруг
в упор
крутым свинцом

пробита брешь
в его рядах.
Тогда пронзителен
и рыж
огонь забился
из-под крыш,
качнула гаубица,
гром —
и дом
оскалился ребром.
Ряд эпизодов,
фактов,
сцен...
Тяжки
истории листы.
У самых
у кремлевских стен
враги
забились под кресты...
И
с крепкой мыслью
в голове,
от утомленья
полумертв —
вот этот самый
человек
и этот самый
пулемет.
В железнодорожных
мастерских
станки пустуют
и тиски:
почетный пролетарий,
он
оружье взять
ушел в район.
Красногвардейскою
тропой
им взят Манеж
и «Метрополь».

И вот,
едва сгустела тень,
пошли,
пошли,
пошли
на Кремль.
И взяли Кремль,
и взяли власть,
и взяли
всю страну в ремонт,
и не сумели
запропасть
ни человек,
ни пулемет!
И если
нужно будет
в бой
за власть советскую
идти,
из этаких
врагу любой
заставой
ляжет на пути.
А что ж теперь?
Учеба,
рост,
упорная
разверстка сил...
Как человек
привычно прост,
как пулемет
привычно стыл!
Но если нужно —
погоди! —
они
по фронту —
впереди.
И этих прочных
двух друзей
еще не срок
сдавать в музей!

Смотри:
на транспорте
прорыв,
и он
с учебы —
в мастерских,
как белых жал
до той поры,
прогул и лень
берет в тиски.
И пулемет
не на показ:
ему
и речь
и роль дана.
Не им ли
первая строка
истории
проведена?!
Истории
великих лет,
которые
несут нас,
мчась,
которых жизнь,
которых свет
мы
будем праздновать сейчас.
Теперь
она для всех — проста,
ясна
огромных букв
печать,
но было —
с белого листа
нам суждено
ее начать.
Смотри,
какой обычный вид,
какой привычный
глаз и рост!

В герои
он не норовит,
хотя герой
всегда и прост.
Но если б ты
узнать хотел,
как начинается
Октябрь,
приникни
к этой теплоте,
спроси
вот этого хотя б —
и за четырнадцать
годов
весь том истории
готов, —
и станет
улица узка,
и ляжет
полем битв
Москва...
А молодость
пусть переймет,
как
переделывали век
вот этот самый
пулемет
и этот самый
человек!

*1931*

## ПОЕЗДКА В ГОСТИ К ХАРЬКОВСКИМ ВУЗОВЦАМ

Ставши поезду
на запятки,
месяц светит
во все лопатки!
Поезд поступью
ста чечеток
повторяет
тревожный счет их.
Время за полночь.
Мне не спится.
Тень фонарика
на лице.
Мысли кружатся,
точно спицы
в намотавшемся
колесе.
Что я еду?
Куда я еду,
блеском месяца
пережжен?
На какую
лечу победу,
на какой
напорюсь рожон?
Прежде ездили
в гости к тетям,

на побывку
да за рублем.
Кто ж скучает
и ждет нас,
кто там
в строчку ласковую
влюблен?
Надрываясь
в килу и в грыжу,
в перебранках,
тоской изныв,
жду и чувствую,
жду и вижу
близость
выросшей новизны.
Пораскинулся
город новый,
бывшим выговором
крестьян —
украинскою
мягкой мовой, —
раскрываясь
и шелестя.
Нет, не с месяцем
мне сторговываться,
не в побранках
язык чесать,
и не тысячами
карбованцев
покупаются
чудеса.
А послушавши
говор люда,
разве скажешь,
что это ложь?
Разве это
сплошное чудо
не до самых корней
поймешь?
Где он взял
и откуда вывез их,

в небо вставшие
вдруг стеной —
эти выкрики
и эти вывески,
эту гордость
своей страной?
Что ль в глазах у тебя
троится,
что не видишь
родню свою:
поднимаются
украинцы
и в полроста еще
встают.
Разве сам ты —
не рад-радешен,
как в расцветшем
весной лесу?
Как поднятые
в хлоп ладоши,
здесь —
подошвы тебя несут.
Если есть еще
что на свете,
что не купишь
любой ценой, —
видеть вещи
в их новом свете,
полнить сердце
судьбой иной!
Поезд грякает,
рельсы узятся,
месяц пеплится,
ободнев.
Еду к харьковцам,
еду к вузовцам,
новолетней
моей родне.
И в какой бы
сухой суровости

ни лунило
моей седины, —
от этой радости,
от этой новости —
меня ничто
не отъединит!

*1930*

## ПЕСНЯ ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЫ

Время былое —
море гнилое...
Мертвый,
соленый Сиваш.
Дни,
пересыпанные золою,
сумрак
рассеялся ваш!
Братских могил
сохранилось немало,
сжавших
смертельным кольцом
яростный профиль
Турецкого вала, —
бравших
и павших бойцов.
Мертвое море
вброд перешли мы,
нам
на ходу
не слабеть.
Будем же
пламенны
и бережливы
к памяти
наших побед!
Перекликайся
с центра на фланги,

песня
возможной войны!
Выбит и выгнан
в прошлое Врангель,
жив —
его белый двойник.
Жив еще,
ищет
с нами знакомства,
став
на чужие харчи, —
генералиссимус ихний
Лукомский —
пнем обгорелым
торчит;
ждет еще
нашей увесистой плюхи.
Только дойдет
до беды, —
в ряд
Ворошилов,
Буденный,
и Блюхер,
в марш —
боевые ряды!
От сумрачного,
черного,
лихого
воронья
концом штыка
упорного
страну
обороняй!
От смертного
от холода,
от цепкого
врага
концом серпа
и молота
страну
оберегай!

Чтоб вжал
буржуйский прихвостень
с досады
когти в горсть,
скорее
стройку выгвозди,
забей
последний гвоздь!
Чтоб грудь страны,
одетая
в бетон,
в железо,
в сталь,
одним плевком
ответила
на рев
белесых стай!
Там, на границе
румынской и польской,
дали
туманны стоят.
Враг,
извиваясь
гадюкою скользкой,
точит
накопленный яд.
Вот потому-то
нам не до шуток,
гонка
и стройка скора,
краток
и высчитан
промежуток —
нашей защиты
пора.
Руку занес
на строительство кровли,
враг —
лишь на вид
полумертв, —

к очереди боевой
приготовлен
сторожевой
пулемет.
Вот потому
этой песни начала
ждут не дождутся
они,
чтобы до срока
она прозвучала —
песня
возможной войны!

*1930*

## ТВЕРДЫЙ МАРШ

Восемь командиров
РККА
врезывались ветру
в облака.
Старшему из равных
сорок лет,
больше половины —
прочим нет.
Молоды, упорны,
ясный взгляд,
всей стране защита —
первый ряд.
Небо наклонилось
и само
вслед за ними рвалось
в комсомол.
Поднималась плесень
от болот, —
ей корабль навстречу
вел пилот.
Выше, выше, выше —
день был сер —
восемь командиров
СССР.
Если рявкнул гром бы
вражьих жерл,
стал бы тверд, как ромбы,
ихний взор.

Если крест фашистский
в небесах,
влет вираж крутой бы
описал.
Но воздушной ямы
тишь да мгла
их рукою мертвой
стерегла.
Вплоть затянут полог
тучевой,
за дождем не видно
ничего.
Красных звезд не видно
на крыле.
Крепких рук не слышно
на руле.
Хоронили рядом
с гробом гроб.
Прислонились разом
к ромбу ромб...
Но слезой бессильной
их смерть не смажь.
Выше, выше, выше
в тучи марш!
Накренилось небо
к ним само:
«Кто на смену старшим —
в комсомол?»

*1931*

## ЗНАЧИТ, КРОЕМ!

Раньше
марша пехот,
тишью трупов
заранее тешась,
выкликают поход
против нас
голоса их святейшеств.
Углекопы,
смеясь,
сторонятся
фальшивого писка.
Слишком явен
и ясен
им стал
их дергемский епископ.
Слишком сладостно
«друг»
в складки рясы
запрятал причины;
слишком бьет
им в ноздрю
непроветренный
смрад мертвечины.
Никому не близка
благодать
от таких агитаций;
слишком страшен
оскал

по кладбищам
привыкших питаться.
И другой клеветы,
оползая слюной
ядовитой,
языки завиты
и вокруг пятилетки
обвиты.
Принудительный труд,
он —
у биржи,
воссевшей на троне.
Им ли
стекла вотрут
в зрачки
европейских колоний?
Им ли
двинется вдаль,
на истертом
поднявшись домкрате,
порыжелая сталь
их проржавевших демократий?
Вы,
укрывшие волю в штыках,
о свободе работать
заботясь.
Вы,
дающие право сдыхать
на свободе
от безработиц.
Значит,
крепко вас кроем,
что лжете
так злобно и грубо.
Значит,
прочно в нутро им
топор залетел
дровоpуба.
Проверяя
свой строй,

набивая
        патронами ранцы,
поднимают
          свой вой
банкиры
        Америк и Франций.
Замогильная тварь,
ты о ком
         завела панихиду?!
Пролетарий земли,
                  поднимись и ударь,
обеззубь и гони
               от рабочего хода
                                ехидну!
Значит —
        наголо зверство,
что воют
        так нагло и едко.
Значит —
        намертво в сердце
врубилась в их век
                  пятилетка!

*1931*

## НА ЧЕРТА ТАКОЕ «УЧЕНОЕ ОБЩЕСТВО», В КОТОРОМ НАУКА НА МЕСТЕ ТОПЧЕТСЯ!

Флаг науки
плещется гордо!..
Обществ ученых —
не перечесть.
Скальпель,
линза,
флаг
и реторта
охраняют
их доблесть и честь.
Но за линзой
и за ретортой
шорох длится
стари потертой...
Испытатели природы,
изучатели воды
заградили
плотно входы
гущей
древней бороды...
Вам, профессор,
знанья дать бы:
«Тьму разбей,
и мрак рассей!»
Нет,
в «наследственной» усадьбе
он разводит
карасей.

С видом
бабочек невинных,
взвив
дипломов вороха,
меж цветочков
и травинок
приспособились
порхать.
Но бабочка — бабочке
рознь:
одну изучай,
другую брось.
Особенно,
если опустится
на свежую грядку
капустница.
Надеемся твердо,
что «Варнитсо»
времени
не упустит,
проверив,
где свежесть ростков —
налицо,
и где —
засилье капустниц.

*1931*

## ВИНТОВОЧКА

Расстилайся, ровная дорога,
непройденной новизной.
Красная Армия — белая тревога
от винтовки нарезной.

В кого метим,
того знаем
в полный рост.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

Мы тебя смажем, мы тебя почистим
и заляжем в камышах.
Не дозволим лодырям-фашистам
нашей стройке помешать.

Не дождутся,
не узнают
наших слез.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

В заплечах у нас противогазы,
гусьи шеи — хобота.
Не допустим черную заразу
нас в обротку обротать.

Развевайся,
наше знамя,
выше звезд.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

На тачанках дремлют пулеметы,
нагулявши аппетит.
Нас, враги, вовек не перейметe
на проторенном пути.

Всюду помнят,
всюду знают
белых злость.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

Мы сильны не пулями одними:
только тронься марш их рот, —
сжав кулак, поднимется над ними
за спиной их — красный фронт.

Не покроет
полночь злая
красных звезд.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

Всюду в мире токаря, шахтеры —
нам родня — зерно к зерну —
в капиталов окорок матерый
нарезные повернут.

Забивая
вместе с нами
в гроб им гвоздь,

винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

Наши братья — индусы, китайцы,
наступая по пятам,
нам с тобой помогут сосчитаться,
белозобый капитал.

Не дождутся,
не узнают
наших слез.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест.

Наши кони гонки и машисты,
сабли — стебли камыша.
Не дозволим ухарям-фашистам
нашей стройке помешать.

Пусть они
не налезают, —
в гриву, в хвост.
Винтовочка
нарезная,
бей внахлест!

*1931*

## КАК ЖЕ МНЕ НЕ РАДОВАТЬСЯ!..

Надо ж быть
тупым ослом,
чтоб ходить —
не радоваться,
видя,
как идет на слом
гниль
охотнорядская!
Здесь,
взмывая
на лету,
звон,
бывало,
катится
вспоминавшей Калиту
Параскевы-Пятницы.
Здесь густел,
скисал
и тух —
аж с Василья Шуйского —
кондовой
расейский дух
закоулка
узкого.
Из-под груд
говяжьих туш
вырастал здесь
истово,

крутомяс,
дебел
и дюж, —
культ
царя и пристава.
Здесь
Головкина сыны —
подпирали
Громова;
кто —
сельдей да ветчины,
кто —
кастет их пробовал.
Здесь
с истории задов
рыки
шли звериные:
«Бей студентов
и жидов,
потроши перины им».
Покрестившись
на восток,
жить желали
так-то вот:
каждый
жизненный росток
в землю
навек втаптывать!
«Не обманешь — не продашь», —
щурить
глазки щелками;
намусолив карандаш,
барыши нащелкивать.
Жирно есть
и густо спать
в бормотне
да в ругани;
в праздник —
чинно выступать
с ризами-хоругвями.

Революции гроза
откатила их
назад:
сбились
тенью плоскою
под стеной
кремлевскою.
Выводили
тайный счет
из-под пальца
потного:
дескать,
жив он,
жив еще
дух
дельца охотного.
Хоть обрюзг,
обмяк,
опух, —
злая доля выпала, —
черносотенный
лопух
до конца
не выполот.
Впился в стены он
клещом,
чуть пришлось
попятиться;
на своем
стоит еще
Параскева-Пятница.
Я пою,
свищу,
кричу:
«Зря
надеждой тешиться,
в спину
старому хрычу
кол бетонный
втешется!»

Пролетят
куски недель,
пыль осядет
извести —
многоярусный
отель
стекла в небо
вызвездит.
Не для пареных
телес,
славных
во купечестве,
не пронырливый
делец
в сонме
прочей нечисти, —
здесь хлопочут
и снуют,
делом
озабочены,
строят здесь
комфорт-уют
для себя
рабочие.
В жизнь
былое поросло!
Как же мне
не радоваться.
видя,
как идет на слом
жуть
охотнорядская!

*1931*

## ПЕСЕНКА ОБ АЛАБАМЕ

Алабама, Алабама —
знаменитый южный штат,
где над черными рабами
петли крепкие свистят.

Он вдвойне прославлен нынче
и повсюду знаменит,
что решил — законы Линча
электричеством сменить.

Алабама, Алабама —
знаменитый южный штат,
где над черными рабами
петли длинные свистят.

Слишком толстыми губами
пил ты воздух здешних мест;
ты забыл, что в Алабаме
над тобой — фашистский крест.

Он винтом вкрутился в мясо
негритянских прочных плеч,
отучил тебя смеяться,
ниц к земле заставил лечь.

Алабама, Алабама —
знаменитый грозный штат,
где над траурными лбами
искры синие трещат.

Слишком белыми зубами
ты сверкал на ихних жен
и за это — в Алабаме
будешь заживо сожжен...

Алабама, Алабама —
штат предательства и лжи,
над казнимыми рабами
мертвый узел развяжи.

Став над смерти темной ямой,
весь гроза и уголь весь,
я пою над Алабамой
боевую эту песнь!..

*1931*

## ТРЕТИЙ ГОД СТОИТ У ВОРОТ

Комсомольцы, вперед!
Комсомолки, вперед!
Враг ползучий,
слезою умойся.
Пусть унынье и лень
всю к чертям заберет.
Пятилетка зовет
комсомольца!

Промфинплан
стоит под ударом, —
припомним все
боевую страду.
Наших сил
неугашенным жаром
убыстряйте
станки на ходу.

Комсомольцы, вперед!
Комсомолки, вперед!
Враг ползучий,
слезою умойся.
Летунов и ловчил
пусть к чертям заберет.
Пятилетка зовет
комсомольца!

Враг отовсюду
щупает щель,
портит работу
косо и криво.
По вражьим лапам
ударом цель —
по лапам,
пролезшим в дырья прорыва.

Комсомольцы, вперед!
Комсомолки, вперед!
Лжеударник,
слезою умойся.
Паникеров, рвачей
пусть к чертям заберет.
Пятилетке на фронт,
комсомольцы!

Помни:
решенье нашей участи —
уголь,
машины
и чугун.
Уменьшеньем рабсилы,
ее текучестью
не позволяй
отходить рычагу.

Комсомольцы, вперед!
Комсомолки, вперед!
Друг фальшивый,
слезою умойся.
Благодушье твое
пусть к чертям заберет.
Пятилетке на фронт,
комсомольцы!

*1930*

# ПЛАКАТЫ И ЛОЗУНГИ

## РАЦСЧЕТ

Учет механизмов,
материала,
времени —
с себестоимости
половина бремени.
Рационализаторский счет —
не чудачество:
поднимет количество,
повысит качество.

Предъявим
рационализаторский счет,
где враздробь
работа течет.
Чтобы не течь ей
водою в сите,
свой опыт и сметку
в рацсчет вносите.

От станка —
до ВСНХ
свой рацсчет
продвигай и толкай.
Свое освежив производство
счетом,
взгляни на соседнее —
как и что там?

*1931*

* * *

В жару производства,
в толщах руд
на помощь ударнику —
в руки «Труд».
Лентяев протянем,
прогулы — к ответу!
Своею сделай
газету эту.
На каждый прорыв,
на каждый удар —
эхом гремите
строчки «Труда»!

*1931*

* * *

Златоустовский Краснознаменный имени Ленина,
оглянись!
Кем твоя сила была обесценена,
кто тянул тебя вниз?
Контрольных цифр превысив колонки,
ты сдвинул легших бревном на пути,
и тех, кто хотел отстояться в сторонке,
заставил в ногу с собою идти.
Златоустовский Краснознаменный,
оглянись!
Запомни, кто тянул тебя вниз.
Запомни, что враг твой неугомонный —
оппортунизм.

*1930*

## ЗАВОДУ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

«Красное Сормово»!
Отмыты
пятна срама:
не предана,
не сорвана
годичная
программа!
Теперь,
оправясь вовремя,
и третий
кончить тем бы.
Храни,
«Красное Сормово»,
боевые темпы!

*1930*

## КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Оппортунизм
в профсоюзном платьице
потихоньку
от конкурса пятится.
Разоблачим
его хитрые тонкости.
Ударник!
Требуй
участия в конкурсе.

*

Энергия масс —
пятилетки рычаг.
Путь намечен,
куда направлять ее.
Профсоюзники!
Не у вас ли зачах
конкурс
на лучшее предприятие?

*1931*

## ИСПАНСКИЙ ПЛАКАТ

Буржуй в пятилетку глядит с опаской:
не стала б примером она для испанской!

Жаром революции пятки накаляя,
согнали Альфонса, на манер Николая.
За ним — за границу катиться градом
пришлось наиболее знатным грандам.

Попы, про житье распевая райское,
капитализм прикрывали рясокою.
Совсем как у нас — вы только смотрите! —
им перья нынче вставляют в Мадриде.

В образовавшиеся в троне трещины
осела немедленно пыль керенщины.
Точь-в-точь повтореньем февральских времен —
созрел социал-фашистский лимон.

Товарищ! Гони пятилетку вверх,
чтоб красным флагам плескаться —
путями тех же пройденных вех —
над нашей и над испанской!

*1931*

## ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛОЗУНГИ

Сильней
первомайские грозы
гремите:
фашистской
не устоять
пирамиде!

*

Орудий грозой,
переплетами виселиц
на Первое мая
буржуи окрысились.
Конторы,
колонии,
банки
и склады
еще охраняют
фашистов отряды...
Но небо сегодня
не зря голубое,
и день сегодня
недаром лучист, —
тебе не сдержать
мирового прибоя,
затянутый в каску и смокинг
фашист!

*

Активист рабочих семей,
дисциплину
наладить сумей!

*

Языки
буржуи трут:
посмотри
на вольный труд.
Злыдни
ухают совой:
вот он —
семичасовой.
Стань
да погляди-ка:
своя рука —
владыка!

*

«Купил сапогп —
носить не моги.
Получили ситец —
обратно неситесь.
Приобрел борону —
ставь ее в сторону.
Как был рабочий
пьяпица,
такпм
навек останется.
Как впал
с измальства в одурь,
таким и кончит
лодырь».
Товарищи рабочие,
наставьте им носа,
тесните на обочины
такие голоса.

Врагов злорадных
линию,
злорадный хрип
да вой
покрепче
дисциплиною
охватим
трудовой.
Помни, товарищ:
каждый прогул —
делу убыток,
радость врагу!

*

У Первого мая
дорога прямая,
тверды шаги
и цель ясна:
сияй на знаменах,
Первое мая —
коммунистическая
весна!

*1931*

## ЛОЗУНГИ К ТРИНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ

В тринадцатый раз
Красная площадь
становится рупором
нашей мощи.
В тринадцатый раз,
в тринадцатый раз нам
огонь витрин
накаляется красным.
В тринадцатый раз
победная гордость
проносит знамена
великого года.
Но в первый,
глаза электричества ширя,
сияют огни
на Кашире и Свири.
Но в первый,
огнем лемеха раскаля,
колхозы
всерьез запахали поля.
И — в первый раз! —
надежно и точно
усилья миллионов
к итогу свелись:
в тринадцатый —
невозвратимо и прочно
Советы
вступили
в социализм!

*1930*

## К ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Пламя домашней кухни —
тухни.
Взвейся,
пламя фабрики-кухни!

*

Редей,
цепь очередей!
Женщины,
их бесконечье
не длите,
требуйте
близкий
распределитель!

*

Довольно
нашлепывать детям зады.
Матери,
стройте детские сады!

*

Конец постирушке,
стирке горячечной, —
стираем
в общественной прачечной.

Не смылим жизнь
на обмылки, объедки, —
заставим быт
служить пятилетке!..

*1931*

## ЧЕТВЕРТЫЙ ХЛЕБОЗАВОД СЕБЯ ПОГЛЯДЕТЬ ЗОВЕТ

В заводах привычны угрюмая хмурость,
кирпичная копоть, задымленный тон.
А этот — пшеничная белокурость,
гравюрная ясность: стекло и бетон.

Пойдем поглядим,
что мы едим.
Входи не горбясь —
просторен корпус.
Халата пола
чиста и бела.

Пока наполняются глотки цистерн
стандартной мукой до отказа,
весы неподкупно дежурят у стен,
у лампочки красного глаза.

Мучные ресницы — широкие взгляды,
хорошие лица ударной бригады.

К удивлению вашему,
пока вы глаза косили,
тесто уже заквашено
и пущено в месильню.

Квашенки на кругу
кружатся на бегу.

Месильный рог
рвет за клоком теста клок.

Потом квашни блаженные,
от кружева — в бреду,
в камеры брожения
выстаивать идут.

И тесто — удивительно! —
зажатое в тиски,
разрезано делителем
на ровные куски.

Конвейера поток
неслышно вдаль потек.
Перед рекой резинною
не устоишь разинею.

Ударная бригада,
с-под белых ресниц,
работая что надо,
глазами плесни.

Хлебцы садятся один за другим
в маслом опрыснутые формы;
печь обдает их дыханьем тугим,
медленным жаром рассчитанной нормы.

Они сидят румяней,
чем барышни в романе;
они растут пышнее,
чем выделки пушные.

Им — бережность и место,
внимание и счет.
Они уже не тесто,
их общий жар печет.

Их, сняв с печи порога,
обрызгавши водицею,

конвейера дорога
уносит в экспедицию.

Закатисто требуй, закатисто требуй,
гудок твой упорно к проверке зовет.
За качество хлеба! За качество хлеба!
Соседний товарищ, хлебозавод!

*1931*

## ЛОЗУНГИ О КАЧЕСТВЕ ХЛЕБА

Товарищ!
Дети рабочих просят:
пожалуйста,
чтоб мякиш был пышен,
а корка поджариста.

*

Хлеб — основная рабочая еда.
От плохого хлеба — всем делам беда.

*

Вынь хлеб хороший из пéчи, —
трудящийся люд едой обеспеча.

*

Нельзя от плохого хлеба страдать.
На хлебных заводах — хлебный стандарт.

*

Санитарный надзор! Следишь ли за выпечкой?
Смотри — и в мусоре хлеба не выпачкай!

*

Чье зренье к рабочему быту не слепо —
все на борьбу за качество хлеба!

*1931*

# Обнова
## 1934

### ЧУДЕСА

Лишь
вспухнут
дымки
трудового
денька
у топок котлов,
у домен грудастых —
и видишь:
нужна государству деньга,
большая деньга
нужна государству.
Действительно,
это нельзя описать,
и вымолвить трудно,
и трудно представить:
растут корпуса,
как во сне чудеса
растут, —
но в реальной,
всамделишной яви.
Ты знаешь,
что это не чудо.
Ты сам

своими делами,
руками,
глазами
притронулся
к этим крутым чудесам;
ты видел их
вровень с землей,
под лесами;
ты видел,
как в небо
взвивалась стрела,
как тешутся бревна,
стругаются планки;
ты видел,
как кони
грызут удила,
как месится цемент,
как фыркают танки,
как аэропланы
скользят на крыле
и четырехмоторная
движется тень их
надежной защитой
советской земле.
И все это
требует денег и денег!
Банкиры,
засев по квартирам уютным,
не очень-то
взаймы охотно дают нам.
Они бы тогда
отслюнили нам займы,
когда,
передав из полы в полу́,
мы б земли свои
отдали им внаймы,
и сами
склонились бы к ним в кабалу.
Но сами,
храня свои земли и реки,

мы денег
своею братвой
наскребли,
и сами
построили блюминг и крекинг
на наши,
советские рубли.
Днепровской плотины
широк полукруг!..
Уже выжимают
днепровские шлюзы
ладонями влажных,
сияющих рук
на них оседающие
грузы.
Уже отвечает
заботам земля
разливом пшеницы
в колхозных массивах.
Уже нами выпущены
на поля
многие тысячи
тракторных сивок.
Уже по буржуям
бежит холодок,
и бас
никакой не покроет
шаляпинский, —
когда
за гудком поднимают гудок
басы:
Сталинградский,
Харьковский,
Челябинский.
Мы сложных машин
разгадали секрет,
мы техники пользу
на ус намотали,
и корпус страны
зашумел, разогрет,

на нефти,
железе,
угле
и металле.
Мы рук за подачками
не суем,
наследство ж
забыли оставить нам предки.
Мы сами себе
отпустим заем
первого года
второй пятилетки.
Неужто цепляться
за толстых
за нянь?
Неужто канючить
с ручкой по людям?
Сами себе
сумеем занять, —
сами себе
и выплачивать будем.
Мы прочно решили
стоять на своем,
чтоб нам,
а не толстым
сиять напоследки.
Вот для чего
мы даем —
заем
первого года
второй пятилетки.
Товарищи!
Это сказал не я,
не я,
советский поэт —
единица, —
на этом
страны трудовая семья
в общем гуле
объединится.

*1933*

## ЧИТАЯ ЛЕНИНА

### 1

В царской России
семьсот помещиков
владели
двадцатью миллионами десятин.
Они управляли страной,
из них набиралось правительство,
под ихней рукою
клонились к престолу
русский,
поляк,
еврей,
осетин.
За ними шел,
отличимый в сером народе,
краснооколышный класс
их благородий.
Это была одна половина России.
Другая —
десятками миллионов,
забитая и нагая,
просвечивая в лохмотья,
в тулупы и в армяки,
фосфоресцировала,
то есть светилась
отблеском их сверканья,

их благоденствия,
их довольства,
их, граненной в алмазы, руки.
Победы, балы, парады...
Петры и Екатерины...
История
их любовниц, любовников, орденов.
Бугры жировые грудей,
ворчанье и чавк звериный,
шпицрутенов хруст зловещий
и грохот Бородино.
Это была история
семисот феодалов,
подчищенная,
как баки,
какие носил Александр.
Другая история —
в книги не попадала,
она разбредалась сказками
по бездорожным лесам.

## 2

Основаньем
дворянской России
была
отработка
и кабала.
Зуб махины царизма
испорченный,
сотрясаясь,
скрипя
и хрустя,
перемалывал
древней испольщиной
землю бар
под сохою крестьян.
Можно было —
лишь наново вычистив,
не сдаваясь
день ото дня,

вырвать с корнем
сорняк крепостничества,
на дыбы
Россию подняв.
Эти выкладки,
вылазки,
выписки,
подрывная
работа ума,
бой
с матерой усадьбой столыпинской,
порох букв,
начинивший тома!

### 3

Скучная вещь статистика,
скучная вещь статистика,
скучная вещь статистика, —
ее кругозор не широк.
Лучше сыграть в три листика,
лучше сыграть в три листика,
лучше сыграть в три листика,
и — провести вечерок.
Светились
розовые абажуры,
варились варенья,
женились хлюсты́...
Кто про них знал,
про эти бури,
взметающие метелью
листы?!
Скучная вещь статистика,
скучная вещь статистика,
скучная вещь статистика, —
цифр неприметный мирок.
Лучше заняться мистикой,
пододеяльник выстегать
или еще — беллетристика,
и — провести вечерок.

Добро —
подсыпать в огурцы укропу...
От хрипа в грудях —
перуанский бальзам...
...Ленин рубил
не окно в Европу:
весь мир подносил
вплотную к глазам.
Прогорклую мудрость
житейского сала,
наросшую в верхних слоях,
широко
страниц его
резкая явь разрезала
наплывы набрюшников
и окороков.

4

И вот обнищанье,
обезлошаживанье,
нужда,
берущая за грудки, —
и, горло труб
завываньем надсаживая,
взвились над Россией
заводов гудки.
И Ленин,
прпстально выщурив глаз,
вымеривал
в массу растущий класс.
Он счетом считал
дорогие ряды.
Он боя грядущего
линию
выравнивал,
идя впереди,
партийною дисциплиною.
Он,
резкостью светового луча

в работе
сжигая сутки,
высмеивал
и разоблачал
унынье
и предрассудки.
И класс за ним двинулся,
силу доверя,
как входит
в проводку молния, —
вразлет распахнув
широкие двери
Смольного.

**5**

Мы видим:
он победил,
а не та,
гнилушками тлевшая
темнота.
Мы видим:
он победил,
а не те,
желавшие жить в тишине,
в теплоте.
Не шумом
оравы-орды
вел массы
ленинский разум, —
штурмом
твердынь
вражеской
философской базы.
На штурм этот —
в бой до конца,
поколение,
за ясность,
за яркость,
за яростность Ленина!

*1933*

## О ЖИЗНИ

В этом месяце вечерами
разгорается красный свет,
и везде в кумачовой раме
перемноженный жжет портрет.

Перемноженный улицами, зданиями,
городским бормотаньем несвязным,
партизанскими восстаниями,
днепропетровским энтузиазмом.

Поддуваются флаги, рея.
Молоды, холодны ветра...
Как картинная галерея,
так Москва чиста и бодра.

В этом вечере, в этом городе,
чтоб ни вздумалось сделать вам,
ненавидите, любите, спорите
по его боевым словам.

И не в силах никак наглядеться
на черты эти вплоть, сполна,
расширяет большие, как детство,
молодые глаза страна.

Большерукая моя, большеногая,
большеглазая, больше больших,

всем, что сердце толкая и трогая,
говорит ему: пой, не фальшивь.

Только рот — не велик и не маленек,
в самый раз, хоть моих молодей,
да еще — пара тех, подкрахмаленных,
подмороженных ветром грудей.

Не боюсь я с тобой, хоть что хочешь,
что ни сделайся, ни случись.
Этим вечером, этой ночью
посмотри, как наш город лучист.

Не боюсь, ни предстарья, ни темени,
мне не страшен ни лом, ни бой
в этом месяце, в этом времени,
в этом городе с этой тобой!

С этой новой, не сдавшей ни разу,
не кривящей, не гнущей никак,
большерукой и большеглазой
дочкой века — большевика.

Пусть блестит в огнях Пикадили
и бледнеет от света Уайт-сквер.
В этом месяце мы не ходили
еще ни разу с тобой по Москве.

*1933*

## О СМЕРТИ

Меня застрелит белый офицер
не так — так этак.
Он, целясь, — не изменится в лице:
он очень меток.

И на суде произнесет он речь,
предельно краток,
что больше нечего ему беречь,
что нет здесь пряток.

Что женщину я у него отбил,
что самой лучшей...
Что сбились здесь в обнимку три судьбы, —
обычный случай.

Но он не скажет, заслонив глаза,
что — всех красивей —
она звалась пятнадцать лет назад
его Россией!..

*1932*

## СЪЕЗД

### 1

Это
достойно большого запева,
это
обширный,
внушительный жест:
съезд
из отдаленнейших мест —
съезд
командиров весеннего сева.
Темой высокою,
стих,
овладей!
В сердце,
как в залу,
пожалуйте, гости!
В обе мои
разведенные горсти
высыпьтесь,
зерна отборных людей!
Свод еще темен.
Зал еще пуст.
Только
качаются грузно при въезде —
то ли
весенние грани созвездий,
то ли
сверканья набухнувших люстр.

В залу войдите
один за одним,
сядьте
размеренными рядами —
точно
посеянное грядами,
рослое поле
советской родни.
Просим пожаловать,
милости просим,
первый,
нигде не слетавшийся слет!
Это —
земля своих первенцев шлет,
это —
шумят яровые и озимь,
это —
вредителю дуло к виску,
это —
движение соков подкожных,
это —
привез наилучший колхозник
опыт и навык свой
сверить в Москву.
Опыт и навык...
Разве не на́век
был он завещан
от дедов-отцов?
Разве не базой
лабазов и лавок
был он забит
и закрыт на засов?

2

Дикою малиною
запроволочен лес.
Ели тени длинные
взяли наперевес.

Путь-дорога поздняя,
поехал — не зевай.
Конница колхозная,
готова ль на сева?
Сядем, командиры,
за длинные столы.
Залатаны ли дыры,
исправны ли волы?
Сберег ли, как зеницу
и как жену,
отборную пшеницу —
зерно к зерну?
Проверены ль моторы
в тиши ночной?
Нуждается который
в починочной?
И если ты со славой —
в петлицу ромб!
А если в деле слабый —
вались в сугроб!
Колючею малиною
опутан лес.
Ели тени длинные
взяли наперевес.
Пусть свет в глазах дробится,
об этом речь:
нам надобно пробиться
к весне навстречь.
Путь-дорога поздняя,
поехал — не зевай.
Конница колхозная,
готова ль на сева?

3

Раньше —
дворяне,
их благородия,
представляли
земли плодородие,

Раньше —
по глади весеннего сева
вместо «фордзона»
катилось их чрево.
Раньше —
машиной
мужик не «испорченный»
сам за коня
запрягался испольщиной.
Красный околыш
в полях колыша,
как до них «родина»
была хороша!
Кант позументом
посеребря,
как их Россия
была к ним добра!
Были
громкие балы,
пьяные,
не скучные.
Гнулись
прочные полы,
тесаные,
штучные.
Как по «родине»,
по ней,
лились реки
шампаней!
Пили,
рук работою
не моря.
Мы их
в шею выгнали
за моря...
Но прилипла собственность
к бородам.
Как горохом об стену:
не отдам!

А чего натружено,
нажито?
Над цыплячьей дюжиной
решето?!
Пред машинной станцией
стал — не стой.
Хорошо крестьянствовать
всей землей!
Хорошо хозяйствовать,
став стеной, —
сильною, глазастою,
всей страной!

### 4

Новыми затеями
туг амбар,
станем богатеями
чище бар.
Сядем, командиры,
за длинные столы,
где дворян кружились
веселые балы.
По их дубовым креслам
напрочно сев,
обдумаем, обмыслим
весенний сев.
Чтобы не бояться
их давней лжи,
песня, опоясывай,
крутись, кружи!
Кто пришел со славой —
в петлицу ромб!
Кто на поле слабый —
катись в сугроб!
Путь-дорога поздняя,
поехал — не зевай.
Конница колхозная,
готова ль на сева?
. . . . . . . . .

Ночь.
Еще пусты стульев ряды.
Над головами их —
гроздья созвездий.
Только что,
время опередив,
песня моя
побывала на съезде.

*1933*

## О ПАМЯТИ

Мы теперь «Интервенцию»
смотрим в театре на сцене,
«26 комиссаров»
инсценируем в фильме в кино, —
время боль усмиряет,
уходят в историю тени,
на глазах очевидцев
нарастает налет ледяной.
Гримированной были
не выдержать с жизнью сравненья,
их последних минут
объективу не отыскать.
И насколько ж была величавее,
проще,
скромнее
повседневная жизнь их
и горькая гибель в песках!
Даже всех их фамилий
не вложишь в короткую память:
Шаумян, Джапаридзе...
А дальше — в архивы глядеть.
Для того ли стояли они
над бруствером на яме,
чтоб исчезнуть из памяти
им благодарных людей?
Нет!
Припомнишь опять —
и мороз подирает по коже:
как сияла звезда,
как скрипела тюремная дверь...

И насколько ж оно
и похоже и не похоже —
то, что было тогда,
на то, что явилось теперь!
Это ихние кости
скрепили фундаменты стройки,
струйкой крови из ран их
впервые намечен канал,
потому что они
оставались упорны и стойки,
потому что их взгляд
этих лет перелет обгонял.
И теперь,
когда с горки дорогу пройденную видно,
и чем дальше,
тем крепче
прошедшее в руки дано,
при начале пути
возникают они монолитно —
двадцать шесть комиссаров,
как цельное имя одно.
И когда по Германии
ловят и душат партийцев,
и рабочего моря
приспущенный вымпел поник, —
мы наверное знаем,
во что она обратится —
эта кровь пролитая
и прочная память о них.
Возникайте же выше
плечами из камня и стали,
алюминием
небо советских высот
серебря, —
вы,
которых, предательски выкравши,
в ночь расстреляли
с девятнадцатого на двадцатое сентября!

*1930*

## «ШАРИКОПОДШИПНИКА» ПОДШЕФНЫЙ ПОЛК

Фанфары, вздувайте
могучую весть:
пятнадцать прошло,
а идущих не счесть!
Сверкайте, фанфары,
в шумящем шелку
«Шарикоподшипника»
подшефному полку!
Тяжелые стены
раскрыл Большой театр,
четыре на сцене
фанфарщика стоят...
Рабочие в ложах
поднялись на локтях.
«Шарикоподшипник» —
празднует Октябрь.
И долго не молкнет
сигнал боевой —
приветствие шефу
полка своего,
и долго не молкнет
ладонь о ладонь:
приветствуют шефы
свой полк молодой.
Начполк рапортует —
и крепость в лице, —
что технику знают
и знают прицел,

что грамотен каждый,
    и смел, и свеж,
врага не допустят
    шагнуть за рубеж.
Стоят молодые
    Союза сыны,
и нет им примера,
    и нет им цены.
И в технике знает
    и в жизни толк
«Шарикоподшипника»
    подшефный полк.
А ну-ка, пилсудчик,
    испробуй труда
на танках ползучих
    пробраться сюда!
Французских заявок
    велик аппетит —
руками зуавов
    нас мнит победить.
Мы ждать вас не будем
    под сенью крыш,
сигналы разрубят
    повсюду тишь.
Сготовил снаряды
    и помнит долг
«Шарикоподшипника»
    подшефный полк.
И нету в Союзе,
    такого уголка,
где б трепет фанфар
    не развеял шелка,
где б грохот ладоней
    рабочих рук
не отозвался б
    на этот звук.
Отброшенный враг,
    погибая, кренись.
Подшефные встанут
    у наших границ.

Поднимутся всюду
    Союза сыны —
и нет им подсчета,
    и нет им цены.
Фанфары, трубите
    могучую весть:
пятнадцать прошло,
    а грядущих не счесть!
Страшись же,
    буржуйская тень котелка,
«Шарикоподшипника»
    подшефного полка!

*1932*

## БАРЬЕР

Бушует кризиса<br>
                        мутная пена;<br>
товары на складах<br>
                           ложатся пластом.<br>
А мы неуклонно,<br>
                        а мы постепенно,<br>
промышленность<br>
                        вверх поднимая,<br>
                                             растем.<br>
Поэты<br>
         надуют губки,<br>
                             капризясь:<br>
«У вас не найдется<br>
                            темы другой ли?<br>
Опять вы про кризис?» —<br>
                                    «Опять я про кризис —<br>
в связи<br>
         с монополией внешней торговли».<br>
Вы скажете:<br>
                  «Тем не касаясь «казенных»,<br>
в словарь наш<br>
                     слова эти<br>
                                не внесены,<br>
мы пишем<br>
               об облаке,<br>
                              о газонах,<br>
о всем,<br>
         относящемся к теме весны».<br>
Послушайте,<br>
                  души лирически нежные,

что было бы,
если б,
у вас в облаках
витая,
Союз
не сосредоточил бы внешнюю
торговлю
у государства в руках?
Наехали бы
коммерсанты шустрые,
товаров своих
навезли бы стога,
а мы бы,
свою обескровив индустрию,
платили б
частникам чистоган.
Потом —
за шерсть,
за шелка,
за сласти,
за обработанный
каучук —
тихонько
они подобрались бы к власти:
«Позвольте,
я вас управлять научу!»
Они и сейчас,
от бессилия ярого
язык закидывая
за плечо,
на ввоз
накладывают эмбарго,
замкнуть нас пытаясь
ржавым ключом.
А что бы тогда?..
Но — ленинский прищур
развидел их тени
сквозь призрачный дым.
И пусть вкруг границ
они свищут и рыщут —

мы щелок в торговле
прогрызть не дадим.
Костяк производства их
от кризиса высох,
а наш здоровеет,
трудом разогрет.
И, кризису вход преградив,
на границах
поставлен
о внешней торговле декрет.
Желаете
торговать с государством?
Пожалуйста:
точны расплатою в срок.
Но вам, господа,
никогда не удастся
засесть за Союз,
как за сладкий пирог.
Добычею
мы вам
не будем,
не станем, —
мечтанья об этом
поставьте под крест.
Вы видите —
залито небо блистаньем:
то — Днепр
и Рион,
то — Ивгрэс
и Нигрэс!
И это —
сияет рабочая воля,
углы захолустные
светом облив,
держа
монополию внешней торговли
в руках,
нам сберегшую силы —
рубли!

*1933*

## РУАНСКИЙ СЛУЧАЙ

На севере Франции
город Руан
встает
как давняя быль.
Нормандские башни
в тихий туман
за шпилем
вонзают шпиль.
Там флаги
всесветных линий пестрят,
глубок
и просторен порт.
И мудр в Руане
седой магистрат,
и древностью города
горд.
И много
вокруг Руана руин:
мосты,
подземелья,
гербы;
надменные герцоги
кости свои
давно
уложили в гробы.
Но дух феодалов,
должно быть, не снес,
что замки
срывают на снос:

в гробу
тяжело повернулся дух
и —
стену обрушил на двух...
Здесь прерывается
тема баллады,
жизнь
вступает в свои права,
и начинается —
что нам надо:
новые чувства,
факты,
слова...
Каменотесы
засыпаны были,
подумав,
что кончились
жизнь и свет.
Потом,
прочихавшись
от тленья и пыли,
решили,
что им пропадать
не след.
Они застучали
кирками о мрамор,
царапаясь
парой слепых котят.
Они не хотели
понять упрямо,
как пышно их в землю
зарыть хотят.
А магистрат Руана
работал рьяно.
Текла подписка —
заживо
закопанным,
пока
не оскудела
каждого

дающего
рука.
Попы
уже мурлыкали
загробные
псалмы,
предчувствуя
великие
подачки
и кормы.
Текли рекою
франки,
вздуваясь
через край, —
круглился чеком
в банке
свободный
пропуск в рай.
Не знаю,
сияли поповские рожи ли
и очень ли
счастлив был магистрат,
но каменотесы
взяли и ожили:
со станции «Вечность» —
срочный возврат.
Объят магистрат был
великою думой,
неясность проблемы
сводила с ума:
что сделают
каменотесы с суммой,
когда им приличествует
сума?!
Думали дни,
думали ночи,
думали долго,
думали очень.
Лбы натирали в мышленье
до ссадин...

И —
наконец-то! —
выход был найден.
«Так как
деньги предназначались
на гроб,
на ладан,
на треск свечи,
то нужно,
чтоб снова они
скончались,
прежде чем собранное
получить».
Не знаю,
как смотрят
ожившие оба,
Руаном обласканные
до гроба,
но верю —
не слишком спешат отправиться
за этой получкою
к праотцам.
Пока ж они,
найденной жизни радуясь,
в обнимку ходят
вдвоем,
мы песню,
начатую балладой,
на лад иной
запоем:

«На ваши затраты
скупы магистраты,
но сила —
у вас в руках.
Лежат ваши франки
в Руанском банке,
а взять их —
нельзя никак.

Пусть рушатся стены
над берегом Сены,
но только на них —
не на вас.
Готовьтесь, ребятки,
к решительной схватке
при жизни
добыть права.

Пусть рваны карманы
рабочих Руана,
но сила
у них в руках.
Лежат ваши франки
в Руанском банке, —
неужто ж
не взять их никак?!»

Норманны
были народ суровый,
лбом
стены их пробивали рыцари,
но этаких деятелей
крепкоголовых
Руан
не запомнит исстари!

*1933*

## МОСКВА 1932 ГОДА

В тебе, любимый город,
Старушки что-то есть:
Уселась на свой короб
И думает поесть...

*Хлебников*

Лишь утра осеннего
сумрак рассеется, —
прикинув
каждую мелочь к глазку,
пойдут москвитяне
в гуще процессий
осматривать заново
свою Москву.
Потянут зрачки
по узорчатым стрелам
строительств,
прокалывающим облака,
и вдаль поведут —
над Кремлем постарелым,
на башнях
былые несущим века.
Пойдут и,
подошвой ощупав,
похвалят,
хозяйски огладят
зрачком и пятой
катками разглаженный
улиц асфальт,

домов разутюженных
ровный бетон.
Морщины Москвы,
на глазах молодейте!
Старуха,
не горбись к земле,
не тужи!
Домов твоих новых
и улиц владетель
детьми поднимает с земли —
этажи.
Нас грязью и ленью
века попрекали, —
теперь
мы векам возвращаем попрек.
Их новый хозяин
в работе,
в накале
всю гниль вековечную
к слому обрек.
Ломаются главы,
ломаются плечи,
руины
столетних устоев и стен;
ломаются меры
мечты человечьей,
былых отношений,
понятий
и цен.
И лысого купола
желтое пламя,
и мертвенный зов
сорока сороков
ломаются,
падая в прахе и в хламе,
и окна просветов
глядят широко.
И там,
где тянулись зловещие тени —
скуфейных угодников
сумрачный ряд, —

невиданной новостью
насажденья
зеленою молодостью
кипят.
И прелая пыль,
повисев,
отлетела,
и старое падает,
набок кренясь,
и смотрятся станции
метрополитена
из близкого будущего
на нас.
Привыкшая к стонам,
удавкам
да плетям,
к священному праву
разъевшихся морд,
страна —
обновленная
пятнадцатилетьем,
сегодня становится
миру на смотр.
И мир удивляется:
«Это она ли?
И облик не тот.
И напор волевой».
Напомним:
философы мир объясняли,
а мы —
переделываем его.

*1932*

## «ОСТАНОВКА ПЕРЕНЕСЕНА»

Хочется знать
　　　　　　　их имена,
хочется знать
　　　　　　　их отчества.
*«Остановка перенесена».*
Чье это
　　　　творчество?
Гражданин
　　　　　потрет переносицу,
не зная,
　　　　где ему сесть:
«Да куда ж она,
　　　　　　　черт,
　　　　　　　　　переносится?
И где она,
　　　　　дьяволы,
　　　　　　　　есть?»
Хоть плакат и сух
　　　　　　　　и краток,
мелкий шрифт,
　　　　　　унылый вид,
но
　о пышных бюрократах
как он
　　　ярко говорит!
Нас в расчет
　　　　　　не принимая,
кто он,
　　　автор этих игр,

чтоб
за блеющим трамваем
обыватель мчал,
как тигр?
Кто
заводит распорядки,
чтоб автобус
и трамвай
с седоком
играли в прятки:
если ловок,
то поймай?!
Кто,
угрюмо сдвинув бровки
и надменно
сжав уста,
переносит
остановки
в неизвестные места?
Кто,
поставив росчерк лихо,
расстарался
в МКХ,
чтоб цвели
неразбериха,
суматоха,
чепуха?
Покажите же
его нам,
рост,
приметы,
цвет лица,
кто в погоне
за вагоном
заставляет нас
плясать?
Как высок он
или низок,
сильно ль
лоб его покат?

Мы б ему
на всех карнизах
понаклеили
плакат:
«Обходите,
детки,
мимо.
Не топчите,
детки,
гряд.
Здесь стоит
не-пе-ре-но-си-мо
надоевший
бюрократ».

*1930*

## МОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРОТИВ ГОЛОЛЕДИЦЫ

Товарищи!
Это не в шутку,
не в смех
я разражаюсь
тирадою.
На площади города
падает снег,
и люди
и лошади
падают...
Даже автомобили
катятся боком,
колеса крутятся,
а не идут.
Посмотришь на это
сочувственным оком,
и хочется
сбыть ледяную беду.
Прекрасна Москва
в лощеном асфальте,
ровна и упруга
бетонная толща.
Но
только
Москву вы такою похвалите, —
опять убралась она
в комья
да клочья.

Опять облепили
и с фронта
и с тыла
ее колтуном
ледяные ухабы.
Опять она
хмурой неряхой застыла
в присядке
угрюмой
взлохмаченной бабы.
И нет тротуаров,
просторных и торных,
под седоусой
гримасой зимы.
И в этом,
товарищи,
виноват не дворник,
а в значительной степени —
сами мы.
Объятые
ледяным безразличьем
и ленью,
от паданий
не уставая вздыхать,
почему мы
не ломимся
в домоуправленья,
не обрываем звонков
МКХ?
На вздохи
и возгласы
пыл свой потратив,
забываем,
что,
если нехватка песку, —
песок
можно вытряхнуть
из застарелых бюрократов,
вгоняющих нас
в ледяную тоску.

*1930*

## ВОЛЕЙБОЛ

Улица асфальтовая,
ветерок по ней,
всю ее охватывая,
высушил панель.
Вечер — самый радостный!..
Гонит туч обрезки
нежно-тепло-градусный
ветерок апрельский.
Вечером довольный
до конца, заранее
мчусь на волейбольное
на состязание.
Жалко — не близко
стадион «Искра»:
в трамвай не влезешь
без особого счастья,
а если и влезешь,
разорвут на части.
Поймать такси —
тоже вроде выигрыша.
Кати, неси,
переулком выкрутивши!
Тем более,
раз на волейболе я.
Это же — роскошь:
разве вы б не рады, —
для Днепропетровска
лучшие команды —
вышли наркомфиновцы
против рабпроса.

Мяч перекидывается
через сетку косо,
через всю площадку
норовит промчаться...
Просвещенки вянут,
загоняют в аут.
Наркомфиновцы взяли верх —
выше скачут.
Просвещенок пыл померк —
терпят неудачу.
Затем вышли печатники,
стихов моих печальники,
против торговых
рослых морковок.
Играли не плохо,
проиграли без вздоха.
Но вот — задача спорная:
две сборных мужских —
первая сборная, вторая сборная.
Обе — Москвы.
Мяч летит по диагонали,
через сетку кружится...
Раз по шесть его гоняли
молодость и мужество.
Что ты, мячик?
                        Брось трепаться!
Им тебя
            не уронить.
Точно,
         ловко,
                  по три паса
с той
        и с этой
                    стороны.
Взвился в последний,
                              кажется, раз:
гас —
почти отвесный, —
но принят!
               И снова приподнят вверх.

И снова
вскинутых рук фейерверк
ответный!
Это лучше
всякого балета:
две
ходящих ходуном
волны,
два
друг с другом
мерящихся света
молодость
и мужество страны!
Хорошо, первая!
Отлично, вторая!
Точный расчет вы ведете,
играя.
Это в руках у вас —
бодрости мяч,
это на жизнь
вы играете матч,
крепость,
упругость,
легкость линий
коллектива
сковав дисциплиной.
Но если
на солнце отыскивать пятна,
одно мне только здесь
непонятно:
почему к этой радости,
волнующей и греющей,
по глухим переулкам
дорожка узка?
И почему на это
редкое зрелище
не смотрит,
заражаясь им,
вся молодая Москва?

*1930*

## НЕБОЛЬШАЯ ТЕМА: ПОЧЕМУ КУСАЮТСЯ ЦИКЛАМЕН И ХРИЗАНТЕМА?

В цветочных магазинах
Зеленого треста
нет
радужным настроениям
места.
Казалось бы
с первого взгляда,
что там
должны привлекать
к кустам и цветам;
что,
с улицы видя
ушко цикламена,
захочешь —
и купишь его непременно.
На самом же деле,
взглянув на сирень,
прохожий
становится тучи серей.
И к цветку хризантемы,
не знаю зачем,
остается он хладен
и нем...
Ходят
доверчивые покупатели,
смотрят
на благоухающий кустик.

Но сколько б на кустик
глаза вы не пятили —
не трогайте кустика:
он укусит!
Невинный цветок,
белый или розовый,
ощерит на вас
этикетку
с угрозою.
Не веря глазам своим,
потрясены,
вы обращаетесь
к продавцу:
«Ведь быть же не может
подобной цены?!»
Глядит продавец,
как лев на овцу:
«Это, — говорит, —
не моя вина.
Это —
Зеленого треста цена!»
И, как цветолюб
на кусты ни ярйтся,
везде,
на каждой паршивенькой ветке,
с разметкой
не меньше чем
«20» и «30»
(рублей, а не листьев!)
висят этикетки.
Здесь уж, товарищи,
начинается мистика.
Ей-ей, я не балуюсь
и не грублю.
Но сами считайте:
с каждого листика
трест норовит
сорвать по рублю!
Иначе говоря:
желаешь цикламен —

скидавай пиджак
за него взамен.
Не собирая
об этом мнения,
думаю,
все согласятся заранее, —
это уж
не трест озеленения,
а трест беззастенчивого
раздевания.
Конечно,
чудесно озеленять цеха,
прекрасно
превращать улицы в рощи,
но следует ли при этом
чихать
на скромное желание
озеленять жилплощадь?

*1931*

## ПРОСИНЬ

Первовысохшие лужи,
первовылетевшие жуки...
Сапоги
еще неуклюжи
и провачены
пиджаки.

Май только начат
в сонных лесах.
Сотни казачьи
гнут на рысях.
Сапоги бутылками —
красные головки.
Как бы для затылков
не было поломки!

Ходи
да оглядывайся,
клонись
да прокрадывайся.
Из-за кустика,
из-за кустика
блестит пуговица.
Как пригнутся-ка
да припустят-ка —
теки сукровица!

Щеки тощи,
взгляд из-под век.

«Стой, забастовщики,
руки вверх!»

Май еще горек,
свет еще пуст.
Талый пригорок,
набухнувший куст.
Утро еще розово,
дело не кончено.
Идут от Морозова,
движутся от Коншина.

Теперь
уж запамятовали
имена их
мамонтовы,
а раньше
при имени ихнем
сникаем, бывало,
и тихнем...
По центру Тверской
дома высоки,
по центру на дутых
летят рысаки.
Стоит облицован
в глазурь «Метрополь»,
делов не желает
иметь с шантрапой.

Стекла
сухой зашуршали замазкой,
перед демонстрацией
первомайской.
Что это за люд на Тверской,
простоват?
Что это забегали
пристава?
Что это за цокот
копыт тороплив?
Что это за хриплое:
«Целься, пли!»

Это защищаются
Морозовы, Конщины.
Дело продолжается:
далеко не кончено.
Драться так драться,
все на-перекат!
Кипень демонстраций
моет берега.
Свет не клином —
на хозяевах.
Ливнем хлынем,
только не зевай.
Сердце, екай,
песня, гуди
первой маевкой
других впереди!

Первовысохшие лужи,
первовылетевшие жуки...
Сапоги
        еще неуклюжи
и провачены
            пиджаки.

Я знаю:
        теперь под фашистской маской
укрылись
        всесветных хозяев зобы,
и пенится
        океан первомайский,
о первых каплях борьбы
                не забыв.
И эту первую
            вешнюю просинь
из сердца не вынем,
                за плечо не бросим.
Она нас учила:
            смелей и смелей
держаться,
        вставать
            и ходить по земле!

*1930*

## НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

Здоровья и силы — труду,
здоровья и силы — труду,
здоровья
        и счастья
                и силы — труду
в идущем на смену
                году!

Пусть новые гуды гудут
гигантов на полном ходу,
пусть новые
        мощные
                гуды гудут
в идущем на смену
                году!

Чтоб солнце растило гряду,
земля чтоб родила руду,
чтоб все —
        на потребу
                и радость труду
в идущем на смену
                году!

Чтоб крепкая завязь — плоду
в весеннем советском саду,
чтоб красную
        видно повсюду
                звезду

в идущем на смену
году!

Враги чтоб имели в виду,
задумав ввести нас в беду,
что станем мы
в ровном
и крепком ряду
как в прошлых, так в новом
году!

Чтоб всюду, куда ни пойду,
работа с весельем — в ладу,
чтоб были
написаны
нам на роду
победы и в новом
году!

Здоровья и силы — труду,
здоровья и силы — труду,
здоровья
и счастья
и силы — труду
в идущем навстречу
году!

*1933*

## МОСКВА-ПЕСНЯ

Скорей с подушки голову,
    глаза протри
для утра для веселого
    больших смотрин!
Идет Москва
        на улицу, плотна,
несет Москва
        сажени полотна.
«Откуда ты, Москва, идешь?»
                «Из болотищ,
из тюрем да из ям».
«Кому ты расстилала
            холсты своих полотнищ?»
«Боярам да князьям.
Была я, Москва,
        нища, грязна,
а ныне я, Москва,
        им всем грозна:
дворянам да купцам,
            вельможам,
                богатеям, —
живем теперь без них,
            без них не сиротеем.
Иду, Москва,
        по улицам, светла.
Смела с них гниль
            железная метла!»
«Неужто ж ты, Москва,
            была такою дурой,

что раньше на князей
не глядывала хмуро?»
«Взглянула раз,
взглянула два —
с бедняцких плеч
скатилась голова.
И только раз на третий,
узнав их нрав,
добилась, доломилась
исконных прав».
«Куда же ты, Москва,
девала то, что было, —
тоску да грязь?»
«Болота осушила
и ямы завалила,
а тюрьмы да остроги
для тех — кто князь.
Была я, Москва,
угарная,
а стала я, Москва,
ударная!»
«Куда же ты несешь теперь
свои сажени,
оркестров медь?
На бурю,
на мятеж
или в сраженье, —
скажи, ответь?»
«Не азиатский табор,
не тьмы орда, —
иду, несу Октябрь,
собой горда!
Врагу не приподняться,
не взмыть на свет,
не дать ответ.
В руках моих — пятнадцать
великих лет
моих побед!
Теперь не стану дурой —
глядеть назад,
не знать аза.

Рабочей диктатурой —
    лишь встань гроза —
    взгляну в глаза!
Скорей с подушки голову,
    глаза протри
для праздника веселого
    моих смотрин!
Умытою, здоровою
    людской стеной
иди с Москвою новою,
    со всей страной!»

*1932*

## ПЯТЬ КОМСОМОЛЬСКИХ

### УДАРНАЯ

Секретарь Гриша Рыбин
по годам — безулыбен.
Рта не хочет разомкнуть —
может лозунг упорхнуть.
Он набрал их полон рот,
ни один не переврет,
слово в слово, будь здоров.
знает взад и наперед!

Куда, удаленький?
Айда в ударники!
Ударники — это слово,
ударники — это да!
Ударники — это клево, —
подворачивай сюда!

Ни пылинки, ни соринки
у Иринкина станка.
Изо всех девчат Иринка
голосиста и звонка.
У нее — пружины ноги, —
не догонит целый цех.
Губы алы, брови строги,
и товарищ — лучше всех!

Пятачок Петруха Ухин, —
это тоже надо знать, —
норовит он даже с мухи
покрасивше снимок снять.
Муха карточку увидит:
морда — задом наперед, —
от досады, от обиды
огорчится и помрет!

Про себя спою я песню —
отойди, посторонись.
Парень очень интересный,
Петр Иваныч гармонист.
Знаменитая ухватка,
выше выхвали любой,
потому, моя трехрядка,
премирован я тобой!

Куда, удаленький?
Айда в ударники!
Ударники — это слово,
ударники — это да!
Ударники — дело клево, —
подворачивай сюда!

*1933*

## ЛИРИЧЕСКАЯ

Над землей, ой-ой-ой-ая-яй-ай, висит луна,
до бела-бела-бела раскалена.
Все ребя-абя-бя-та и девча-ча-та
охмелели без вина!

Отчего-во-во-во-во-во-во они хмельны?
Хоть и в те-те-те и в те-зисах сильны, —
ходят па-а-а-па-а-пасмурные черти,
дружка в дружку влюблены!

Мы без смеху, вдоль по цеху —
и в цеху, в цеху, в цеху блестит луна.
Кошка в мышку, Тишка в книжку,
Глашка в Ти-и-и-шку влюблена!

Если плю-плю-плю-плю, если плюнуть на луну,
поистра-истра-истратишь всю слюну
и не вы-и-ы-ы-ы-и-итянутся губы
на такую длинину, длинину!

Потому му-му-му-му-му-му-у пускай луны
блещут блестки, блестки, блестки у стены.
Мы меша-а-ша-ша-шать тому не будем,
кто в друг дружку влюблены, влюблены!

Мы без смеху, вдоль по цеху —
и в цеху блестит луна.
Кошка в мышку,
Тишка в книжку,
Глашка в Тишку
влюблена!

*1933*

## МАТЕРИНСКАЯ

Хорошо цвести цветам тут и там, тут и там:
за цветком никто не ходит по пятам,
не преследует заботами,
ни родами, ни абортами.

Хорошо на ветках птички поют:
не ложиться им в родильный приют,
не ложиться, не крючиться,
от тревоги не мучиться.

Я под нож идти к врачу не хочу, не хочу,
я рожу его и жить научу.
Будет сын — не исковеркаю,
будет дочка — пионеркою.

Ты меня не убеждай, не нуди,
я его уберегу на груди.
Не к тебе пойду с заботою, —
на себя с ним — заработаю.

Для того я и любила тебя,
чтоб он рос, мои соски теребя.
Чтобы вырос мне для радости
не такой, как ты, оглядистый.

Я под нож идти к врачу не хочу,
я рожу его и жить научу.
Своего рожу — хорошенького,
по земле кружить — горошинкою!

*1933*

## БОЕВАЯ

В девятнадцатом году
комиссар попал в беду:
в белом путался тылу –
не к тому забрел селу.
    Что тут делать?

Навалились беляки,
закрутили кулаки,
посадили под замок,
чтобы выскользнуть не смог.
    Что тут делать?

Шла отбившаяся часть
прямо к белым, прямо в пасть.
Комиссар, подай ей знак, —
не поймет она никак.
    Что тут делать?

Посмотрел на небеса
светлоглазый комиссар,
сердце екнуло в груди —
как ее предупредить?
    Что тут делать?

Комиссар пошел на риск:
зубом путы перегрыз
и тюрьмы сарай поджог
и босым — в огонь прыжок!
    Что тут делать?

Но своим он подал весть,
где засада белых есть.
И, от выстрела валясь,
прошептал он: «Знает часть,
что ей делать!»

*1933*

## МЫ ПОБЕДИМ!

Шесть миллионов двести тысяч —
комсомоль-ска-ая река!
Нас и в год не перекличешь,
если станешь вы-кли-кать.

Глаза наши карие, синие, серые,
и сердце надежно в груди.
Мы ловкие, умные, сильные, смелые,
и ясная цель впереди.

Бывало и нам иногда трудновато:
препятствий и копоть и дым,
но мы — не из воска, но мы — не из ваты,
а главное — мы победим!

Если ж к бою позовут нас
для опасности любой, —
мы за срок пятиминутный
все готовы будем в бой.

Не догонишь нас, попробуй,
не согнешь упрямых плеч.
Под фашистскою утробой
на лопатки нам не лечь.

Наплывай упругим строем,
комсомольская река!
Все запруды гнили смоем
по заданию Це-Ка.

Глаза наши карие, синие, серые,
и сердце надежно в груди.
Мы ловкие, умные, сильные, смелые,
и ясная цель впереди.

Бывало и нам иногда трудновато:
препятствий и копоть и дым,
но мы — не из воска, но мы — не из ваты,
а главное — мы победим!

*1933*

# УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

# 1934

## «ЕСТЬ В ПОЛЕТЕ!»

Три храбрых,
одолевших высоту,
три сердца —
оборвались на лету.
Как не забыть,
как их восстановить,
еще вчера
надежных жизней нить?
Еще вчера
была не решена
задачей боевою
вышина.
Еще вчера
они прошли меж нас.
Была весна,
и грусть была
смешна.
Комбинезоны
были широки.
Из них
никто
не метил в старики.
Так водолаз
бывает неуклюж

меж мелкости
прибрежных пресных луж.
Так гордый «Сириус»
пошел в полет
над мелочью
опушек и болот.
Весенний месяц
в небе родился,
весенний ветер
с цепи сорвался.
Вчера еще
с необычайных мест
Семнадцатый
приветствовался съезд!
Один из них —
советский командир;
им ткань небес
прощупана до дыр;
им пройден был
тяжелый фронт двойной —
гражданской
и научною войной.
Второй из них —
воздушный инженер,
теченье струй
следивший в вышине,
который мог
сказать наперечет,
куда
и как
воздушный мир течет;
но, занятый
высокою средой,
он также был
под красною звездой.
А третий —
комсомолец,
он и прост,
войне гражданской
был еще не в рост;

но ввысь идут у нас
всего скорей
те сыновья
партийцев-слесарей,
которых жизнь,
как «есть в полет»,
стройна,
которых
наша подняла страна.
И путь троих
весь мир с собой увлек,
и поднял ими
мира потолок.
Туда
не выдашь
паспортов и виз,
оттуда
страшно
оглянуться вниз,
особенно же —
если развита
курьерского экспресса
быстрота!
Оттуда
взгляда
вниз не устремляй,
меж облаков —
лишь промельком земля.
Как их спасти?
Как их остановить?
Как поддержать
их бодрых жизней нить?
Спокойствие,
товарищи мои,
спокойствие
на сердце затаи!
Спокойствие
в полях и на реке.
Часы
остановились на руке...

Мы видели,
их урны — все в цветах,
мы врезали
их имена — в веках.
Высокою
окуплено ценой
их место
под Кремлевскою стеной.
Так шире плечи,
головы прямей!
У их родных,
у их больших семей,
весенний ветер,
боль раздуй,
развей
над прахом
большевистских сыновей!
Величие!
Товарищи мои,
величие
на сердце затаи!
Чтоб каждого
последний сердца вздох
по всей земле
поднять волненье смог.
Чтоб на высокой памяти
их честь
был каждого ответ:
«В полете есть!»

*1934*

## ГРЕМИТ ДИМИТРОВ

Величие партии
неизмеримо,
и слава ее — долга...
В рабочих предместьях
Берлина и Рима,
в делах коммунистов-болгар.
Родясь из заводских
собраний подпольных
(Коммуны полотнище,
рдей!), —
каких она выдвигает
отборных,
особенно ценных людей!
Над ними
веревка танцует, намылясь,
и низок
лоб палача...
Но нет!
Не сдаются такие на милость
врагов,
победивших на час.
Смотрите еще раз,
как, в злобе немея,
прически в страхе
топорща метлой,
топчась в нетерпенье на месте,
пигмеи
грозят великанову горлу
петлей!

Но горло гремит,
и от режущих реплик
дрожит крючкотворство
на каждом шагу,
и ветер
сюртук председателя треплет,
и тень лжесвидетеля
гнется в дугу.
Но голос гремит,
разметая нелепицу
фальшивых улик
и предписанных клятв,
и буря грохочет
по древнему Лейпцигу,
и листья судебного акта
летят.
И клятвопреступники
в страхе шатаются,
и — маленький —
в землю по талию врос,
за стол прокурор
удержаться пытается,
когда начинает
Димитров допрос.
И точны слова,
и сказать на них нечего.
Он бьет ими в гущу
убийц и лжецов.
Какою правдивостью
светится речь его!
Какою энергией
дышит лицо!
Кто здесь обвиняемый?
Кто уличенный?
Кому от стыда здесь
и страха
замлеть?
И мир аплодирует,
им увлеченный,
гордясь,
что такие живут на земле!

Когда.
протянувши лапу корявую,
бандиты и воры
присягу дают,
когда провокаторы
грязной оравою
бормочут бессмысленно
басню свою,
когда,
от усилий потный и розовенький,
фашизм обеляющий
прокурор
пытается
обосновать на лозунге:
«Бей наци!» —
легенду про «красный террор», —
Димитров
гремит против этого вздора,
и хохот
до хор доходит резьбы:
«Мне вовсе не надо
убить прокурора,
хоть я и хочу
обвиненье разбить!»
Откуда
под сводов тюремных сумрак,
сквозь прутья,
сквозь цепи,
сквозь рой клеветы,
доходит к нему
это чувство юмора,
величия,
ясности,
прямоты?!
Откуда? —
Отовсюду:
из Праги,
из Рима,
от всех широт
и от всех долгот

Величие партии
неизмеримо,
а славы ее
не оболгут!
Малейшую слабость
из сердца вытравь
и правды
единственной в мире
держись.
Ты слышишь:
гремит товарищ Димитров
за право
на общее счастье и жизнь!

*1933*

## О ТАКТИКЕ РЕШИТЕЛЬНОГО БОЯ

Я шел по Дмитровке
глубокой ночью.
Февральский снег
был нежен и непрочен,
следы на нем
печатались легко.
И тишина
на улицах стояла,
как будто
весь закутан в одеяло
был мир,
задумавшийся глубоко.
Чуть фонарей
покачивались тени.
О чем он думал?
О событьях в Вене,
о тех,
кому уже нельзя помочь,
о том,
как трудно всякое начало,
о том,
какою разницей дышала
советская
и дольфусова ночь.
Рабочие дружины
были стойки.
Дымилось небо
гарью на востоке.
Но тактика
была их такова:

зачем они —
воспрянувшая масса —
позволили себя
у дома Маркса
и по другим углам
атаковать?
От частых вспышек
ночь была рябою.
Но сжато горло
уличного боя.
И тут и там
подкошен красный флаг.
Дугою изгибаясь,
как химеры,
их окружают
цепи войск хеймвера,
их разбивают
гаубицы в прах.
Мы так же были
пламенны и дружны,
мы так же были
полубезоружны
всего шестнадцать лет
тому назад.
Но партия
вела нас к цели ясной, —
и вот
великой Армиею Красной
го́рдимся мы.
Пускай враги грозят!
Мы не дадим
задаром литься крови:
мотор и руль
мы держим наготове,
нас не задавишь
в каменных мешках.
Не станем дожидаться мы
в осаде.
Мы не хотим земли чужой
ни пяди,

но не сдадим и нашей
ни вершка.
Мы знаем —
враг безжалостен и грозен...
Вот почему
так важен этот лозунг
и каждый раз
по-новому высок,
что венские
еще дымят кварталы,
что там земля
не весь еще впитала
товарища
простреленный висок...
Я шел по Дмитровке
глубокой ночью.
Февральский снег
был нежен и непрочен,
следы на нем
печатались легко.
И тишина
по улицам стояла,
как будто
был закутан в одеяло
весь мир,
задумавшийся глубоко.
Но думал я,
что мир наполнен битвой,
что, может, завтра
этой улицей Димитров
пройдет,
похожий на нее точь-в-точь,
что тактику
решительного боя
ненадолго
отсрочит над собою
нависнувшая
дольфусова ночь.

*1934*

## О СЛОВАХ

Сколько
новых вещей
у нас!
Сколько
жгущихся слов
благодарных!
Помогай их звучаньем
движению масс,
коммунист,
просвещенец,
ударник!
Я в заботах поэзии
бьюсь о слова,
и слова
отделяются туго,
но я рад,
что на них заявляют права,
как на сталь,
на машины,
на уголь.
Я к губам подношу
полновесие слов,
скипидарность их
и горючесть,
и я знаю:
то слово,
что в стих вросло,
есть
моя стихотворная участь.

Я — ударник отныне
не только в них,
воспевающих
силу удара,
я недаром в их смысл
и звучанье вник:
они —
никому
не подарок.
Не жене на ушко
дареный супир
и не дочке
к рожденью серьги, —
те слова
подарила нам нынче
Сибирь —
бесконечный
источник энергий.
Так спешите ж, стихи,
на ударный фронт,
новым смыслом
и светом налиты,
да такие,
чтоб сами вжигались в рот:
апатиты
и сапропелиты.
Апатит,
удобренье советских полей,
ярче горного снега
в стихах забелей!
И, пушка на губе
молодого смуглей,
ширься,
юность сапропелитских углей!
Сколько
новых и ярких вещей
у нас!
Сколько
слов смоляных,
скипидарных!

Помогай их звучаньем
движению масс,
коммунист,
просвещенец,
ударник!

*1934*

## ФАРЫ

Российский пейзаж
недавних времен
состоял
из дремучих нечесаных бород;
из глупых ухмылок, —
мол, пьян, да умен, —
которым
противопоставлялся город;
из сумрачных галочьих стай
на крестах;
из кре́постей ку́пчих
на хрустких листах.
Российский пейзаж
проклятых времен
синел из-за савана
белых березок,
обвитый
в густой колокольный звон
над крышами
крепких хозяев тверезых.
Кулак-пятерня
был крепко зажат,
в тугой пятерне —
хозяйства вожжа.
Ползли по земле
комолые сохи:

«Эй, родные,
налягте-ка!» —
Неслись над землей
покорные вздохи —
это была
его практика.
«В праздник-престол —
да не выпьем, сват?
Лишь бы не сдали
пегие!
Миром всем —
да не выбьемся?» —
Это была
его стратегия.
Мы выкорчевали
из земли кулака
без шуток,
вплотную,
не наспех.
Его
за волосья рванула
рука
хозяйств
бедняцко-середняцких.
Мы разогнули
ему пятерню,
согнали его
с переднего воза.
Мы весь крестьянский обоз
повернуть
сумели
на путь колхоза.
Глядишь
на сплошные миллионы га,
сменившие
прежние клочья да клинья,
и видишь воочию
разгром врага,
сметенного
генеральною линией.

Сильно
наступление большевиков!
Сдается,
хоронится заживо
тугая дремота
кулацких веков,
сменяя быт
и пейзаж его.
Но если,
не раз
уличаем и бит,
враг
в старом обличье
встречается редок,
то встать помогает
ему на дыбы,
коптя наше небо,
гнилой теоретик.
И, видя,
что чуть потемнело окрест,
кулак,
озверевши от злобы и страха,
копытом
проламывается
в Зернотрест,
зубами
вгрызается
в Союзсахар.
Мы высветили
кромешную глушь,
уча
управлять государством
кухарок,
но брызгами
мутных невысохших луж
нам свет затемняют
на блещущих фарах.
Сорвем же и эти
подковы с врага:
пускай не лягается
в смертном задоре, —

и если нам
практика дорога,
очистим
от вражеской мути
теорию.
Уж если пейзаж
мы сумели сменить
и меряет взглядом
Нью-Йорк нас,
завистлив,
то мыслимо ль
многим из нас
семенить
околицей
теоретической мысли?
Пусть
завтрашний день
на ладони хрустален
лежит
во всех мелочах видовых,
чтоб
люди и вещи
под светом блистали
всевидящих ленинских
линз световых.

*1934*

## ПЕРЕКЛИЧКА

Я, Москва,
пролетарского мира
столица.
Мне хочется
улиц асфальтом
стелиться.
Я срыла
плесень церквей,
не щадя.
И стало светлей
на моих площадях.
Я — каждым годом —
вдвое и втрое
множу кварталы
рабочих строек.
Я бьюсь
с остатками старого
насмерть,
организуя
снабженье и транспорт.
Я реконструирую
вид свой
и быт свой
на более четкий
и более быстрый.
Расту —
здорова, чиста и суха,

в цветы
и в листву
одевая цеха.
Я старые моды
в сухое былье
скосила,
и ты не заплачешь о них.
Я улицы выстирала,
как белье
стирают
в общественных прачечных.
Кто помнит,
как прежде —
грязна и грузна —
плелась
замызганной шлюхой?
Вглядись пристальней:
не узнать
меня
ни зренью,
ни слуху.
Сама не узнаю
ни дней,
ни людей я,
поселки
рабочих дворцов
расстелив, —
и это сделал,
мною владея,
лишь ты,
пролетарий,
земли властелин.
Города!
Города,
где уголь,
нефть
и руда!
Города
пролетарской борьбы
и труда!

Города,
кому прошлого мерка
узка, —
слушайте!
Слушайте!
Говорит Москва!
Каждый город
в Москву
разукрась,
камень к камню,
мазок к мазку,
чтобы весь Союз,
смыв копоть и грязь,
превратить
в сплошную Москву!

*1934*

## НА ПОЛНЫЙ МАЙ!

Весна страны —
                                        на полный ход,
на полный оборот
у самых северных широт,
у черносливных вод!
Везде
            светла,
                            напряжена,
упорна
              и дружна
и глубина,
                      и вышина —
советская весна.
Везде,
             где влажный грунт размяк,
где сыро
                  и черно,
ложится вглубь
                                   во весь размах
тяжелое зерно.
Зерно
            кубанки яровой,
зерно
            больших идей;
зерно
           запашки мировой,
величия людей.
Зерно
            отборных, крупных лет,

селекция времен;
зерно,
которым движет
свет
развернутых знамен.
Зерно
взволнованных глубин,
оправданных
страстей;
зерно
отстроенных турбин,
проложенных путей.
Оно
охвачено жарой
разымчивых лучей;
оно
влажнеет кожурой
от почвенных ключей.
Оно —
зеленый фейерверк,
колхозов ранний день;
оно
всю землю
тянет вверх,
на новую ступень.
Неповторим,
нерастворим,
мир
движется вперед.
Весна страны
владеет им
на полный разворот!
И ты, мой стих,
не повторись
и новое отметь,
как выезжает
тракторист
под солнечную медь,
ведет коней
на коновязь
колхозный бригадир,

и весь,
в загаре обновясь,
здоров
советский мир.
Как люди,
не боясь беды,
идут
во мрак и льды,
чтоб время новое
вписать
в иные небеса.
Как на спецовках
липнет грязь
и сохнет от ветров.
Как мы,
любя,
сердясь,
смеясь,
ведем свое метро.
Как бег годов —
что лёт минут,
и песни нет
про то,
что люди будущее
мнут
и месят,
как бетон.
Аэропланы
тянут даль,
как невод,
за собой.
Упорно
врубовая сталь
въедается
в забой.
Растет
добыча чугуна,
огромен
дел дневник,
и бьет
советская весна

из вышек
нефтяных.
И человек
не одинок
в такой
большой весне,
и счастье
ластится у ног
все ближе
и тесней.
И ты
пройдешь
проходку лет
и вырубишь забой,
и светлой
молодости
след
оставишь за собой.
И ты припомнишь
этот год,
сияющий
по край,
когда весна —
на полный ход,
на полный
Первый май!

*1934*

## ОПЫТ ПОРТРЕТА

### 1

Этот народ
былъ огромен!
Пустынная синь
и весь...
Из Тул и Калуг,
из Рязаней и Ромен
он двинулся
сразу
весь.
Он сползся
в московскую котловину,
как в древности
за Калитой,
напоминая собою
лавину,
тугою бедой налитой.
Он хмур был и груб.
И хмурым и грубым
варился
в крутом московском котле
засельщиком,
пильщиком,
дроворубом —
сырой,
тяжелый атлет.
Он вырубал себе
сруб деревянный,

он добывал
пушнину и воск,
и длинным
днепровским путем караванным
к низовьям
промысел вез.
Его окружали
леса и болота,
коренья и кочки
на каждом шагу.
В тумане и тьме
вдруг увидишь кого-то:
русалку
и шишигу.
Горбом наживал он
скупое добро,
но княжьей дружины
уздечки бренчали
и взятый
многажды
побор да оброк
за труд заставлял
приниматься сначала.
А потом
он раскидывал
руки в истоме,
он, привыкший работать
крепя и рубя, —
не рассчитывая
ни на кого,
кроме
самого себя.

**2**

Затем
проползали столетий тени,
и судьба его
была такова:
он обрабатывал
стебли растений,

кожу дубил,
железо ковал.
Он силки мастерил,
он платился ногатой,
и хоть не был
ни капли
лентяй или мот,
но —
вершки забирал неуклонно
богатый:
и пушнину,
и пряжу,
и деготь,
и мед.
Он шагал,
уходя по непробитым тропам,
он врывался под землю,
подобен кроту,
но везде,
норовя его сделать холопом,
паразит повисал
на его вороту.
Теперь порассмотрим его
поближе:
он
о жизни,
что этой тоске не чета, —
как железо в пустыне.
от жажды
лижут, —
фантазировал
и мечтал.
Нагреваясь,
делясь
и слоясь постепенно,
погибая в тупом,
непролазном труде,
он вскипал наконец
и разметывал пену
наверху оказавшихся
дошлых людей.

Он скакал
по ухабам
на тряской телеге,
он вздыбал
на спокойный
уют богачей,
разрывая листы
записных привилегий,
то Кондратов Булавиных,
то Пугачей.
В эту степень кипенья,
до дна потрясаем,
он опять поддавался
на лживую речь,
успокоен
практическими мудрецами,
что синица-де моря
не сможет зажечь.
Так история шла...
И в десятый,
и в сотый,
задержав его шаг
и держа взаперти:
кипятковой мечты
и тугого расчета
никогда не сходились
совместно пути.

3

Даты ленинской жизни
известны всем,
их не втиснешь
в строчку скорую.
Он — великий итог
вековечных тем,
волновавших
когда-либо историю.
Но особенно в нем
я люблю и чту

то, что в жизни
им наново до́быто:
ту способность
доводить мечту
до людского
вседневного опыта.
Мечту
не о жирных
собственных щах,
мечту
овладенья
запрятанным где-то секретом, —
о более крупных,
о более веских вещах —
о всем человечестве,
накормленном
и обогретом.
Нам в Ленине
каждая мелочь люба:
и скулы,
и рот неуступного склада,
и эти прекрасные
линии лба,
и меткая прищурь
прицельного взгляда.
Но я говорю
не об этих чертах, —
о мыслях,
вязавших узлами тугими,
о воле,
залегшей у каждого рта,
о сердце,
что в лад ударялось
с другими.
Энергия
многих прошедших веков,
от прадеда к внуку
копимая скупо,
водила его
неустанной рукой

и дуги надбровные
вывела в купол.
И я вспоминаю
об этом лице,
о складках,
которые начали класться
на каждом заводе
и в каждом сельце
у губ и у скул
пробужденного класса.
У губ и у скул,
зажавших тоску,
обиду,
и волю,
и к жизни упрямство,
у множества множеств
у губ и у скул
татарских,
мордовских,
калужских,
зырянских.
И если я вижу —
растет человек
в стране,
что отбросила тяжесть апатии,
и двигает делом
в его голове
мечта воплощенная
ленинской партии, —
я знаю,
что, тем же нагревом лучась,
и ныне,
за краем безмерной потери,
он с нами
действительно жив и сейчас —
живым подтвержденьем
движенья материи.

*1934*

## БОЛЬШЕВИЧКАМ МИРА

Надежда Крупская,
Мария Ульянова,
Димитрова Параскева!
Вы,
мир переделывающие
заново,
на свежий раскат распева,
вы,
мир перекраивающие
начисто
из прежних масштабов
и мсрок,
явившие
высшее женщины качество —
упорство революционерок.
Ни тюрьмы,
ни зимы,
ни белые волосы,
ни годы
тяжелых лишений
у вас не сломили
ни бодрого голоса,
ни смолоду взятых решений.
Не только что жены,
сестры
и матери,
прошедшие
злыми боями, —

великую женскую силу
вы тратили
на бо̀льшее обаянье.
Ни боль,
ни потеря,
ни темное облако,
ни мертвенность
сумерек серых
не мглили
высокого, ясного облика
отважных революционерок.
Вы не на баррикады взбегали
со знаменем,
позируя
и славословясь, —
вы ясным крепили
и ярким сознанием
о женщине
новую повесть.
В далекой Болгарии
плуги плугарили,
Симбирска
косились остроги,
когда ваши серые,
когда ваши карие —
пути выбирали,
дороги;
когда по сугробам,
тоскою примятым,
серея,
толпились бушлаты;
когда и не веяло
нынешним мартом,
Октябрьской
не высилось даты.
Вы выросли
с братьями и сыновьями,
родными
не только по крови,
и женщина стала
над всеми краями —

с отважными самыми
вровень.
На славные головы ваши седые,
на крепкие ваши привычки
сегодня равняются
все молодые —
страны и земли
большевички.

*1934*

## ЭТО ИЗВЕСТНО

Это известно
любому фабзайцу:
избито
в женевских спорах,
сохнет и сохнет
в газетных абзацах
черных расчетов
порох.
Зачем
вываливать в море
пшеницу,
и кофе
жечь в паровозах?
Балансу войны
должны подчиниться
земля,
и море,
и воздух.
Стоит над Шанхаем
жара сухая,
расплавлены
в грохоте дула,
и ветру невмочь
снести от Шанхая
глухого,
зловещего гула.
Кому услыхать
беззащитные стоны,

что с кровью
из горла хлестали,
когда разрываются в воздухе
тонны
высокосортнейшей стали?
Кому охранять
беглецов из Чапэя,
разбитые
бомбами стены,
когда поднимаются
на портупеи,
на амуницию
цены?
Всех горных Швейцарий
нужней
перво-наперво
им —
новых пожарищ
кровища и чад;
они согласны
признать за снайперов
даже
грудных сосунов-китайчат.
В долларах,
франках,
фунтах
и в иенах
нашу судьбу
порешив,
визгом
и лязгом
грузов военных
меряются барыши.
Только не в пору
взвинчен и взвихрен
этот
угрюмый груз, —
видите:
выпрямился Дюнкирхен,
пыль
отряхая с блуз.

Помните:
злоба на вас, не стихая,
цепи причалов
грызет,
акционеры
разгрома Шанхая —
Гочкис,
Шкода,
Крезо.
Как бы удобно
вы ни присели
в креслах
женевских зал,
знают:
всегда у вас на прицеле —
в гущу рабочих
залп!
Только не в пору
взвинчен и взвихрен
этих
расчетов груз, —
видите:
выпрямился Дюнкирхен,
пыль
отряхая с блуз.
Если ж,
тела раздирая на клочья,
взмывши
до самых высот,
вами направленный
сгорбленный летчик
груз этот
вдаль понесет, —
помните:
встанут
повсюду на свете
докеры
в спину ему,
в каждой семье
его ненависть встретит,

снайперы —
в каждом дому.
Так как узнали,
кому она надобна, —
всюду,
до самых низов! —
вами затеянная
канонада
Гочкиса,
Шкоды,
Крезо!

*1932*

## МЮДОВЦАМ

Это станется,
это сбудется,
это в тысячу
грянет
ладов —
ваше будущее,
мюдовцы,
взятых с бою
литых годов.
Хоть притопывай,
хоть приплясывай,
хоть губами
его коснись, —
так он явственен,
век бесклассовый,
синью,
брызжащей у ресниц!
Хоть руками
его охватывай, —
не уйдет он
из-под руки,
диабазовый,
диаматовый,
век,
вступивший в большевики.
Старый мир
притаился за прутьями,
оставляя
кровавый след,

со своими
кривыми плутнями,
с зажитыми
рубцами лет.
Старый мир
обвисает тушею
в им же скованных на себя
цепях,
с безразличием,
с равнодушием
ко всему,
кроме самого себя.
Будут звать его
зверем, чудищем
и на сотни
иных ладов,
новой эрой
считая в будущем
время наших
литых годов.
Мы ж не только
одними речами, —
за каналом
строя канал,
мы делами
за то поручаемся,
чтоб никто
от него не стонал;
за гигантом
вздыбая гиганты,
пробиваясь
и вплавь и влет,
аж до самой
до Караганды,
аж за самый
северный лед!
Старый мир
обвисает тушею
в им же скованных на себя
цепях,

безразличный
и равнодушный
ко всему,
кроме самого себя.
И пока
глобуса разлинованы
черной сеткой
осколков-стран,
мы выходим
самыми новыми,
пересекшими
лет океан.
Это станется,
это сбудется,
если вспомните,
сколько вам лет, —
станет
ваше празднество,
мюдовцы,
лучшей радостью
на земле!

*1933*

## РУКА ОБ РУКУ

Не одни
пироги с повидлой
да навар
зажиточных щей, —
революция
нам повыдала
много
лучших в мире вещей;
много новых,
совсем не бывших,
удивительных
дел труда;
их
с московских строительных вышек
по-особенному
видать.
Разметалась
Москва холмами,
рассиялась
на целый свет,
и над ней
большевистское знамя
хлещет лавой
семнадцати лет.
Но не мне
вас дивить чудесами,
если сами
глядите востро;

вы чудес понаделали
сами:
стратостат,
Беломор,
Метрострой.
Мы припомним,
как звенья героев
шли на штурм
земли и воды;
как бетонщицы
Днепростроя
по себе
равняли ряды.
Не за жирный кус,
не за место —
среди
первых ГЭС
огоньков —
поднимала
число замесов
впереди бригад
Романько.
Как,
сбирая опыт по горстке,
не уставши
сил напрягать,
комсомольцы
Магнитогорска
поднимали вверх
агрегат;
как
ряды ночей неусыпных
наводили
бессонный глаз
и на Шарико-
на подшипник,
и на Тракторстрой,
и на ГАЗ;
как страна,
догнав,
обгоняла

ширь
упёрших вперед утроб;
как
студеной водой канала
запотелый
смочила лоб.
Нет,
не только часы-будильник,
да гармонь,
да велосипед, —
революция
нам судила
обновить кое-что
и в себе.
Ты,
высокую жизнь несущий,
атакующих дней
командир,
повелитель
воды и суши,
перестраивающий
заново мир,
глянь вокруг, —
все не то,
что раньше:
свод небесный
повыше стал,
хоть закат,
как раньше,
оранжев
и рассвет
по-прежнему ал.
Но вокруг —
что ни шаг,
то новость,
и —
походке твоей узка —
что ни пядь,
то новую повесть
для тебя
заводит Москва.

Что ни шаг —
то новые люди,
что ни день —
то новый этаж.
Говорят,
что новое будет
для тебя,
если сам ты не сдашь.
Дай же руку
на это счастье,
чтоб жилось
теплей и родней,
мой товарищ
и соучастник
величайших
в истории
дней!

*1934*

## ПЕСНЯ О ЧЕЛЮСКИНЦАХ

Торосы на торосы громоздятся горы —
лед, лед!
Кто вас в эти области, в ледяные полосы
вдаль шлет?
Айсберги на айсберги сумрачные высверки —
смерк свет.
По небу — ни радуги, понизу — ни искорки
вкруг нет.

Путь не бесследен, —
льдин лязг,
воля к победе
шлет нас.
Вера в конечный
прочный успех
шлет
нас
всех!

Ледоколы двинуты, нарт упряжки кинуты
в лед — край.
В глубь полярной пропасти мчат винты и лопасти:
лед, сдай!
Щели как ни тусклятся, разожмем челюскинцам
льдин пасть.
Под волною шарящей не дадим товарищам
пропасть.

Вылазкою дерзкою крыльям Ляпидевского
путь скор.
И не затуманено зрение Каманина
в снег, в шторм.
Средь полярных сполохов не собьется Молоков:
курс взят.
Стихнет шум — и заново крылья Водопьянова
к ним мчат.

Ближе, ближе торосы, круг на малой скорости —
льдов блеск.
Сжаты льдами шаткими, машут, машут шапками:
мы здесь!
Чуб упрямый треплется. Флаг советский ветрится.
Льдов гладь.
Нет на свете трудности, нет на свете крепости
нас смять!

Путь не бесследен, —
льдин лязг,
воля к победе
шлет нас.
Вера в конечный
прочный успех
шлет
нас
всех!

*1934*

## ПЯТИКОНЦОВАЯ

«Внимая ужасам войны»,
прошли мы, пушек громом споря,
от устья Северной Двины
до черноласкового моря.

Прошли лохматою пургой,
солончаковым горьким зноем,
и не было такой другой,
уставшей счет вести героям.

Гори же, здравствуя,
примета красная,
защита мира и труда!
Сияй, пунцовая,
пятиконцовая
красноармейская звезда!

Литвинов речь им говорит —
не потому ль, что над полками
она зажженная горит
рабочими да батраками.

Не так бы слушали его,
сложа ладони пухлых ручек,
когда бы отблеск боевой
не прорезал свинцовой тучи.

На страны света по лучу,
у копей хватит по рубину,
у фабрик хватит кумачу
по небесам ее раскинуть.

У мира нет такой другой,
отличной мыслью и покроем,
рабочим массам дорогой,
забывшей счет вести героям.

Склоняет шею старый бык,
и целит рог, и пену клочит,
когда повязки красных пик
со всех сторон мелькают в очи.

Зрачки свирепые слезит,
когда из волн спокойных глянца
уже не призраком скользит
поход «Летучего голландца».

Немало промелькнувших лет,
немало лет мы привыкали
быть под ружьем, и на седле,
и у машин — большевиками.

И наши крепкие дела
везде становятся привычкой,
и наша армия была,
и есть, и будет — большевичкой.

Гори же, здравствуя,
примета красная,
защита мира и труда!
Сияй, пунцовая,
пятиконцовая
красноармейская звезда!

*1932*

## ПЕСНЯ ПИОНЕРОХРАНЫ УРОЖАЯ

Рожь колыхается,
как ей полагается,
усами
овес
шевелит.
Небо багряное
с пионерохраною
над полем
в дозоре
стоит.

Воры и лодыри
совесть запродали,
им красть,
чем работать,
милей.
Но мы их увидели:
долой расхитителей
от наших
колхозных
полей!

Носимся стаями
за ворами, лентяями,

и как
ни крути,
ни верти —
супится в стороны
нами арестованный
колхозных
полей
дезертир.

Нас не надуете,
нас не минуете,
и ночью
отряд
не спит.
Поле слухом меряя,
«легкой кавалерии»
дежурят
посты
у скирд.

Скирда колыхается,
как ей не полагается.
Скорее
на дальнее
га!
Застукали на поле
и за руку сцапали
с поличным
на месте
врага.

Чтоб не удалось ему
набухнуть колосьями,
напиться
литым
зерном,
мы по полю позднему
хозяйству колхозному
утери,
собрав,
вернем...

За лесом, за гаем
к селу мы шагаем,
идем
    ко двору
        со двора.
По нашему зову
организована
колхозная
    вся
        детвора.

Шуми ж, колыхайся,
на нас полагайся,
колхозных
    посевов
        стена.
С напевом веселым
идем мы по селам,
и слышит
    о нас
        страна!

*1932*

## МОРСКАЯ ПЕСЕНКА

Стоит корабль у пристани,
дальний порт.
Барашки серебристые —
первый сорт.

Матросы все безусые —
ценный груз;
работают без устали,
не дуют в ус.

И вдруг корабль срывается
с якорей,
и красный флаг впивается
в синь морей.

Дымит большими трубами,
спешит домой.
Луна танцует румбу им
за кормой.

Качают волны веские
его бока.
Прощайте, несоветские!
Пока! Пока!

*1933*

## ШТОРМОВАЯ

Непогода моя жестокая,
не прекращайся, шуми,
хлопай тентами и окнами,
парусами, дверьми.

Непогода моя осенняя,
налетай, беспорядок чини, —
в этом шуме и есть спасение
от осенней густой тишины.

Непогода моя душевная —
от волны на волну прыжок, —
пусть грозит кораблю крушение,
хорошо ему и свежо.

Пусть летит он, врывая бока свои
в ледяную тугую пыль,
пусть повертывается, показывая
то корму, то бушприт, то киль.

Если гибнуть — то всеми мачтами,
всем, что песня в пути дала,
разметав, как снасти, все начатые
и неоконченные дела.

Чтоб наморщилась гладь рябинами,
чтобы путь кипел добела,

непогода моя любимая,
чтоб трепало вкось вымпела.

Пусть грозит кораблю крушение,
он осилил крутой прыжок, —
непогода моя душевная,
хорошо ему и свежо!

*1932*

## СОВЕТСКАЯ МАШИНА

Машина государства
мощна, сложна,
по воле пролетарской
работает она.
Ее валы и ре́мни,
колеса и зубцы
из города — в деревню,
во все страны концы.

Скреби, скребок Рабкрина,
и чисть,
чисть,
чисть
советскую машину —
советскую жизнь!

О шип ее уколются
Советов враги.
От грязи, добровольцы,
машину береги.
Винты каленой стали
контролем протирай.
Чтоб стан не размотали —
гляди, инспектора.

Ее от глаз не скрадут
ни газ, ни дым,

ни плесень бюрократов,
ни тени подхалим.
К ответу привлеките
скрывающих наш рост.
Зажмите волоките
и выкрутите хвост.

Машина государства
других сложней, —
не дай прозаседаться
чиновникам на ней.
Не дай, товарищ, в спину
врагам заржать:
шагай в рядах Рабкрина
по этажам.

Шагай по учрежденьям,
и спуску не давай,
и делом управленья
страны овладевай,
чтоб были всем знакомы
без жирных клякс
советские законы,
их смысл и класс.

Законов этих строки
с живою жизнью ладь,
чтоб новью нашей стройки
ловчее управлять.
Законов этих строки
с живою жизнью сблизь,
чтоб каждый камень стройки
вкипел в социализм.

За дело, добровольцы,
на смыв врага,
чтоб все — для нашей пользы,
ему — ни полшага!
Чтоб время продолжало б
гражданские бои,

пока не станет жалоб
в бюро РКИ!

Скреби, скребок Рабкрина,
и чисть,
        чисть,
              чисть
советскую машину —
советскую жизнь!

*1934*

## РАДИОМАРШИ

### Идут академии

Мы не играем в прятки
с опасностью войны.
Мы все идем в порядке,
в походном порядке
защитой страны.

В родне мы кровной с теми,
кто в Октябре восстал, —
военных академий
отборный начсостав.

В осанке и в повадке
уверенно скромны,
идем, идем в порядке,
в походном порядке
защитой страны.

В родне мы кровной с теми,
кто в Октябре восстал, —
военных академий
отборный начсостав.

В политике не шатки
и в знании сильны,
идем, идем в порядке,
в походном порядке
защитой страны.

В родне мы кровной с теми,
кто в Октябре восстал, —
военных академий
отборный начсостав.

Мы не играем в прятки
с возможностью войны.
Идем, идем в порядке,
в походном порядке
защитой страны!

### Идут рабочие

Всю площадь по обочины
шагов заполнил гуд:
вооруженные рабочие
идут,
идут,
идут!

Если надо грудью крепкой
защитить Союза рост,
вспыхнут враз над каждой кепкой
миллионы красных звезд.

В рядах их перво-наперво,
виски посеребря,
идут отряды снайперов
призыва Октября.
Идут,
идут,
и там и тут
идут!

А рядом место заняли
и те, что в старину
за красных партизанили
в гражданскую войну.

Идут,
идут,
и там и тут
идут!

За ними встали в очередь
надежною стеной
их сыновья и дочери
с винтовкой за спиной.
Идут,
идут,
и там и тут
идут!

Всю площадь по обочины
шагов заполнил гуд:
вооруженные рабочие
идут,
идут,
идут!

Если надо грудью крепкой
защитить Союза рост,
вспыхнут враз над каждой кепкой
миллионы красных звезд.

*1934*

# ВЫСОКОГОРНЫЕ СТИХИ
## 1938

### ХОР ВЕРШИН

Широкие плечи гор —
вершин онемелый хор,
крутые отроги
у самой дороги —
времен замолчавший хор.

Высокие тени гор —
с беспамятно давних пор
стоят недотроги
у самой дороги —
затихший внезапно спор.

Когтистые ребра круч,
копящие шумный ключ,
туманные кряжи
завеяны в пряже
вот здесь же рожденных туч.

Что каменных гряд полоса, —
должна быть и песен краса,
чтоб в небо вздымались,
как каменный палец,
один за другим голоса.

*1933—1938*

## ВЪЕЗД

Стуком поспешной поступи,
гарью полынного запаха
поезд
    топочет по степи,
поезд —
        с северо-запада.
Ночью по сонной шири
скорый летит без удержа.
Крепки сны пассажирьи, —
пушкой
        их не добудишься.
Да и откуда — пушки?
Мирные здесь звучанья:
вон уж
        по краю кружки
звякнули ложечки чайные.
Утро.
    Взглянувши в окна —
вставши на умыванье, —
сразу вся очередь охнет:
что это там,
            в тумане?!
Сразу поймут:
                не до̀ма,
сразу, забыв о суточных,
сердце сожмут истомой
этих масштабов нешуточных.
Видишь —
            как в отдаленье

дремлющими слонами
горы,
согнув колени,
вздыбились перед нами.
Дымною круглясь спиною,
лоб отвернув белесый,
млеют судьбой иною
дремлющие
колоссы.
Вот они —
ближе, круче,
можно рукой потрогать
севшей на землю тучи
каменные отроги.
Можно уже увидеть,
кто на них копошится:
люди иных фамилий —
Джаншиевы,
Абашидзе...
Будничные бешметы,
мельком на поезд глянув,
заняты
своею сметой,
реализацией планов.
Рубят,
строгают,
роют,
прудят бетоном реки.
Новый
Кавказ свой
строят
кровники и абреки.
Тени ветвей влача,
мирно цветет алыча́.
Цедят кони губами
пену студеной Кубани.
Горы уходят
за́ горы...
Словно
навек наколото

этого синего сахара,
светлого этого холода.
Видишь:
            совсем вот тут они
встали,
          до плеч расшитые
в ценность
               породы тутовой,
в крепость
               стволов самшитовых.
Годы
        уходят за́ годы...
Новое
        звонче кличется.
Пухнут в нагорьях ягоды
ясного электричества.
Помнишь, —
                в таком вот поезде
резкостью сна заклятого
стало
        начало повести
в наши глаза
                заглядывать.

*1933*

## СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Камень камню кричит:
                                        помоги!
Сердце сердцу стучит:
                                        осторожно!
Теснотой этих тропок стреножено,
горе скачет,
                        стуча в три ноги.
Человек на скале —
                                        это быль...
Пыль из бурок
                                нагайкой не выбьешь.
Как коня ни резви
                                        и ни мыль,
все равно его к небу не вздыбишь.
Гром железо кует в небесах,
плети молний секут по вершинам,
по протравленным едко морщинам,
как поток,
                        эту жизнь описав.
Человек на скале —
                                        это быль...
Человек на коне —
                                        это песня,
это —
            скалы взлетели отвесно,
это —
            ветром взметенная пыль.
Нет, не песни движенье и взлет, —

это —
вымершей были восстанье,
это —
средневековый крестьянин
к небесам свою молодость шлет.
Вот автобус гудит:
обгони!
Разве скачка
для сердца лекарство?
Отдышали в лесах кабаны,
землю вынюхав мордой клыкастой.
Бурку вскинув за плечи крылом,
ты напрасно
коня загоняешь,
ты напрасно
летишь напролом,
ты размера той силы
не знаешь.
И шоферу в кабине нельзя,
неудобно с тобой состязаться, —
он машину ведет,
тормозя,
он ведь знает,
что конь твой —
богатство.
Я губами на облако дуну,
я плечами откинусь на склон,
если люди
здесь стройны,
как струны,
только тронь —
и посыплется звон.
Я тебя умоляю, молю, —
это ж
пчелы умеют из воска, —
замени отзвеневший аллюр
на
крылами плывущую
плоскость,
чтобы там,
где бесхвостый шакал

изнывал свою низкую участь,
окна школы лепились у скал,
агрогород поблескивал в туче;
чтоб задача
                    была решена,
чтобы губы мои
                    не мертвели,
чтоб кололась
                    в куски тишина
под гортанным напевом картвели;
чтоб не в горнах
                    глухих кустарей
пламенело железо тугое,
чтоб никто
                    не успел постареть,
не увидев здесь время другое.
Камень камню кричит:
                    помоги!
Сердце сердцу стучит:
                    осторожно!
Это время
                    душой стереги,
это время
                    легко и возможно.
Как скала,
                    отколовшись куском,
быль слаба
                    в своем весе жестоком.
Только пни ее легким носком —
и она
                    загремит над потоком.
И, к локтям отвернув рукава,
ты берешься за общее дело,
чтоб земля
                    под подошвой гудела,
чтоб Кавказу —
                    в веках ликовать.

*1933—1938*

## РОЖДЕНИЕ ОБЛАКА

Ребенок — облако
выходит
из пеленок гор.
Потом, потягиваясь тельцем,
он по изложьям горным стелется.
То в птицу превратясь,
то — в рысь, —
летит, вытягиваясь ввысь,
туда, где горы давит туча,
синя, сурова и сверкуча.

*1933—1938*

## ВОДОПАД МУРУДЖУ

Женщина стоит у водопада,
рада, рада,
что ее — с головы до пят
в блеск и в шум одел водопад.
Водопад — ее фаворит,
и она ему говорит:
«Драгоценный мой Муруджу,
хочешь — я от тебя рожу,
я рожу от тебя девчонку,
замечательную речонку,
совершенно такую, как ты, —
неописанной красоты!»

*1933—1938*

## АБХАЗИЯ

Кавказ в стихах обхаживая,
гляжусь в твои края,
советская Абхазия,
красавица моя.

Когда, гремя туннелями,
весь пар горам раздав,
совсем осатанелыми
слетают поезда,

И моря малахитового,
тяжелый и простой,
чуть гребни перекидывая,
откроется простор,

И входит в сердце дрожь его,
и — высоту обсеяв —
звезд живое крошево
осыплет Туапсе,

И поезд ступит бережно,
подобно босяку,
по краешку, по бережку,
под Сочи на Сухум, —

Тогда глазам откроется,
врагу не отдана,
вся в зелени до пояса
зарытая страна.

Не древние развалины,
не плющ, не виадук —
одно твое название
захватывает дух.

Зеркалит небо синее
тугую высоту.
Азалии, глицинии,
магнолии — в цвету.

Обсвистана пернатыми
на разные лады,
обвешана в гранатные
кровавые плоды,

Врагов опутав за ноги,
в ветрах затрепетав,
отважной партизанкою
глядишь из-за хребта.

С тобой, с такой красавицей,
стихам не захромать!
Стремглав они бросаются
в разрыв твоих громад.

Они, тобой расцвечены,
скользят по кручам троп —
твой, шрамами иссеченный,
губами тронуть лоб!

*1933*

## ДАГЕСТАН

Смотри, как туго стянут стан,
смотри, как перекошен рот,
вразлет советский Дагестан
крутые пропасти берет!

Смотри, как остры плечи гор,
как бурка свесилась с плеча,
он вьет коня во весь опор,
его полет разгоряча.

Не чинодрал, не Синодал,
к скале прижавшись злой порой,
он хуже демонов видал,
когда в горах гулял Шкуро.

Но он узнал свою весну,
когда — казалось — кончен свет,
и вдруг, как свет зари, блеснул
ему во мгле аулсовет.

Скрипенье арб, рев буйволиц —
летящим эхом далеко
в любую пропасть провались,
наследье каменных веков.

А ты — на легкого коня,
копыта не задев скалой,
чтоб воздух пел, в ушах звеня,
лети — с откинутой полой.

Бока в рубцы! Скорей, скорей —
в облет вперед ушедших стран.
С зари к заре! С зари к заре!
Вперед, советский Дагестан!

*1933*

## СВАНЕТИЯ

Там, где никнут травы, свянув,
у белков крутых гребней
затаилась крепость сванов.
Что ты ведаешь о ней?

Бьет источник говорливый,
оступается нога,
над страною над орлиной
блещут вечные снега.

За туманов занавеской,
чуть треща, костры горят.
И сюда взойти советской
власти не было преград.

И сюда она, вскарабкав
красный шмат и вольный труд,
где с нашествия арабов
люди песнями живут,

Где, с долинами рассорясь,
бросив общий рост,
сваны верят только в зори
да в движенье звезд, —

И сюда она взбежала
на крутой отрог,
как по лезвию кинжала,
не поранив ног.

Потому что — грубой коже
не страшна промерзлая трава,
потому что — всюду стали вхожи
новые слова!

*1933*

## МИТИНГ В ГОРАХ

Янтарный,
ясный,
яблочный вкус,
дней семь уже
или восемь,
за скулами
крупно закусанный кус:
айва,
инжир,
осень.
Снега изменили
цветенье вершин.
Где конус
за конусом всажен,
где летняя мгла
плыла на аршин,
там белые шапки
в сажень.
Но эти пейзажи,
слепящие глаз,
не сразу
предстали глазу.
Советская власть
пришла на Кавказ
не так-то легко,
не сразу.
Чтоб сердце твое
сохранилось целей,

чтоб эхо
твой слух ласкало, —
на паре
обшарпанных костылей
она поднималась
по скалам;
чтоб медом
вот этих вот каменных сот
раздутые ноздри
пьянели,
она пробиралась
по склонам высот
в изодранной
вшивой шинели;
она хоронилась
в изломах гряды,
она собирала
по горстке
забитые
пасмурные ряды
бешметов изодранных
горских;
она поднималась
по горной дуге
к народам картвелов
и адыге, —
то песнями,
то рассказом, —
к шапсугам,
к балкарам,
к абхазам;
она языком
говорила одним,
хоть множество
было наречий:
«Бедняк бедняку
будет всюду родным.
Сомкнитесь же,
острые плечи!»
И тени сходились
в теснине сырой

на склоны,
укрытые лесом;
их слали аулы
Шатой и Шарой,
Гуниб
и Хунзах с Гудермесом.
«Вас в горы загнали,
как диких лисиц,
и вымели —
силою подлы —
тот край,
что был весел, ручьист и лесист,
казацкие
бороды-метлы.
А здесь,
в этих горах,
на голой скале
рви землю зубами —
не ро́дит;
но сыр и барашек
всегда на столе
имеет
почтеннейший родич.
Казак бородат,
и мулла бородат.
Взгляни,
молодой, безбородый,
не ими ли создан
совместный адат
богатых
отменной породы?
Гляди же,
чеченец,
лезгин
и ингуш,
неужто
не видишь врага ты?
За сладкую власть
да за злую деньгу
продал тебя
родич богатый.

Размысли,
подумай:
твои ли друзья,
приведшие
белое войско,
Осетию
вырезавшие
князья
Анзоров,
Хабаев,
Ватбольский?
Ты помнишь
мюридов священной войны:
как бились они
и как гибли,
как прочно умели
сплотиться они
в отвесных ущельях
Гергибля?
Товарищ аджарец,
товарищ аварец,
давай по душам
с тобой разговаривать!
Тебя ни казак,
ни мулла не смирит,
когда ты поднимешься,
красный мюрид,
когда ты отгонишь,
принявши в ножи,
стервятников
над домами:
Халилей,
Гоцинских,
Узунов-хаджи,
богатства
и знати имамов!»
Слова эти
в сакли и во дворцы
влетали
везде без усилий,

как будто их
розовые скворцы
на крыльях
переносили.
Эти слова,
дойдя до ушей,
сердце захватывали
ингушей.
Чеченцев кровь
от этих речей
текла стремительней
и горячей.
Лезгинов кинжалы
от гневной дрожи
сами выскакивали
из ножен.
«Ходишь — бродишь,
ходишь — бродишь:
мысли —
черные жуки...
Как же так:
ведь это ж — родич,
а по сердцу —
чужаки?
Мы в папахах,
те в фуражках;
речь их —
шорох камышей.
Отчего ж от них
не тяжко,
а свободно
на душе?
Где тут правда?
Где тут кривда?
Вот ходи
да ус тяни:
точно совы —
в гнездах скрыты —
затаились уздени.
Почему —
они не рядом?

Почему —
 не на свету?
Почему —
 под шариатом
эти речи
 не цветут?!
Ходишь — бродишь,
 ходишь — бродишь:
мысли —
 черные жуки...
Может,
 правду предал родич?
Может,
 ближе чужаки?»
И митинг
 по сотням горских селений,
правду от лжи
 отличить томясь,
падал
 подкошенный
 на колени:
час молитвы,
 вечерний намаз.

*1933*

## ПРАЗДНИК С БОЕМ

Зажарен барашек,
и крепок арак,
и щелкают крепко
орехи.
Веселая молодость
пляшет в горах,
заплаты зашив
и прорехи.
На цыпочки встаньте
и бейте в ладоши,
и пойте
на празднике молодежи.
«Скажи мне,
горная красавица,
женщина-князь,
с какими зернами
соприкасается
земная грязь?
С какими зернами,
с какой пшеницею,
с каким овсом?
Как песня грянется
и раззвенится в ней —
все обо всем?!
Довольно сердиться,
довольно мучиться,
зрачком блистать!

Какая молодость,
какое мужество
тебе под стать?
Уши твои
не завешены золотцем;
смугла рука, —
ладонью накрепко
сжата мозолистой
седла лука.
Какою ж песнею
тебе прославиться?
Какая вязь
тебя опутает,
земля-красавица,
женщина князь?»
Звоном сазандари
поступь раззадаривай!
Песня, рядом говори
дудкою дутаровой!
Бейте, бубны,
млейте, струны!
Не жалейте, руки,
бычьих кож!
Пыль со стали
можно сдунуть, —
также — с сердца
лень и ложь.
Станем рядом,
станемте кругами!
Блеск,
быстрь,
свист,
лязг!
Нашими трудами,
нашими руками
обновляется
земля.
Слезы — вдребезги!
Горе — на кусочки!
Наша пляска
такова:

выгни подошвы,
стань на носочки,
птицей вейтесь,
рукава!
Мягче шерсти,
легче ласки
переступы
каблука.
Реки в беге,
горы в пляске
обгоняют
облака.
Звенит сазандари,
взывает дутар,
взмывает
запевистый голос,
и вдруг —
за ущельем тяжелый удар,
как будто
скала раскололась!
Ставь кружки!
Рявк пушки!
Добровольцы!
Добровольцы!
Волчьи сотники —
Шкуро!
«Забирайте
красных в кольца,
чтоб запомнили урок!
Выходи,
кто побогаче!
Выдавай,
кто победней!»
Весь аул
в кольцо охвачен,
в цепь
разведочных огней.
Красные мюриды!
Круча, склон!
Повод подберите,
шашки вон!

Некуда деваться —
ветер в лоб,
надо прорываться
с верхних троп.
На праздник ваш
грабежом и разором —
темнейте, сакли,
и, пляска, пустей! —
привел ваш князь,
полковник Анзоров,
незваных
белых
шумливых гостей.
Белая застава.
Молча!
Стоп!
Лошадей
за храпы!
Тихо чтоб!
Красные мюриды —
вскользь с коней.
Мимо,
мимо,
мимо —
ряд теней.
А над аулом
пели и пели,
визжа,
как летучие мыши,
шрапнели,
и жалобно
шевелил ветвями
обрезанный
пулеметом куст.
Где было веселье —
там яма на яме.
Разбитый аул —
обезлюжен и пуст.

*1933*

## ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕЗГИНКА

За аулом далеко
заржала кобыла...
«Расскажи нам, Шалико,
что с тобою было.
От каких тяжелых дел,
не старея,
молодым ты поседел,
спой скорее».
— Подымался в горы дым,
ночь — стыла.
Заезжали джигиты
белым — с тыла.
Потемнели звезды,
небеса пусты,
над ущельем рос дым,
зашуршали кусты.
Я шепчу, я зову.
Тихи сакли.
Окружили наш аул
белых сабли.
Шашки светятся.
Сердце, молчи!
В свете месяца —
зубы волчьи.
За зарядом заряд...
Пики близки.
У меня в газырях —
наших списки.

Скачок в стремя!
Отпустил повода,
шепчу в темя:
«Выручай, Тахада̀!»
Натянула повода,
мундштук гложет,
отвечает Тахада̀,
моя лошадь:
«Дорогой мой товарищ,
мне тебя жалко.
Сделаю, как говоришь,
амханаго Шалико!»
С копыт камни,
горы мимо,
вот уже там они —
в клочьях дыма.
Ас-ас-ас-ас! —
визжат пули.
Раз-раз-раз-раз! —
шапку сдули.
Разметавши коня,
черной птицей
один на меня
сбоку мчится.
На лету обнялись,
сшиблись топотом
и скатились вниз,
и лежим оба там.
Туман в глазах,
сломал ногу...
Но не дышит казак:
слава богу!
Полз день, полз ночь —
горит рана.
Рано — поздно,
поздно — рано.
Ногу в листья обложив,
вы меня вынесли.
В этой песне нету лжи,
нету вымысла.

Грудь моя пораненная
конца избежала...
Жареная баранина
на конце кинжала.
В кольцо, в кольцо!
Пики далеко!
Кацо, кацо,
Нико, Шалико!

*1933*

## ПАМЯТЬ О ЛАЗО

Вы убили
нашего Лазо,
крадучись
и от людей таяся;
а потом,
скрывая свой позор,
убрались тихонько
восвояси.
Помню,
как у грузчиков,
в порту
речь держал он
во Владивостоке;
а ему —
смертельную черту
подводил
ваш тусклый взгляд
жестокий.
Затащили,
взяв из-за угла,
одного —
десятки лап паучьих;
но вовек
не затушить угля
от костей его
на эти кручах.
Что же
помогло вам
в чем-нибудь,

что убийством
руки замарали?
Легче ли
вздохнула
ваша грудь,
уголовной марки
самураи?
Он стоит,
веселый военком,
как тогда,
открыто
перед всеми,
и — огонь
пылающим венком
на его
красноармейском шлеме.
Он зовет нас
за собой,
туда,
где мы с вами
схватывались
насмерть,
где вы,
пряча глазки
от стыда,
крабами
карабкались
на транспорт.

*1938*

## ПАМЯТИ КЛАВЫ

Она была
красавицей такою,
какой гордятся,
доводясь сродни.
Она была
веселою рекою,
в которой
отразились наши дни.
А если
над умолкнувшим потоком
протянутая
засыхает ветвь, —
то как же нам
в суровом и жестоком
молчанье
не застыть,
не помертветь?
Нам
не истолковать ее превратно —
ее движений,
смеха,
ясных глаз,
как и не возвратить
ее обратно,
утраченной,
украденной у нас.
Мы были ей
действительностью,
явью,

и вместе с ней
умолкли,
отцвели
и отошли
к зеленому заглавью,
в прошедшую
историю земли.
Когда чахотка
сдавит горло друга
или внезапный выстрел
прозвучит,
тогда земля
косит полета угол
и солнца
криво падают лучи.
И все,
что нам казалось раньше раем,
идет винтом,
как Данта тусклый ад;
и мы
ступени эти измеряем,
тупея
от понесенных утрат.
Я не хочу
спускаться
ниже,
ниже...
Я не хочу,
чтобы меня вели
туда,
где солнце,
угасая,
лижет,
как край котла,
кровавый бок земли.

*1937*

## РОМАН ПРОШЛОГО ГОДА

### 1

Под теплым весенним крутым дождем
стоит ваш дом.
Всех сладких весенних дождей вождем
молчит ваш дом.
Струится, бормочет и каплет с крыш
весна и тишь.
Мы с домом под ливнем — мокры, как мышь...
Струится с крыш.
Мы с ливнем вдвоем на крыльце твоем
о весне поем.
Со сладким весенним дождем вдвоем —
на крыльце твоем.

### 2

Ночь соблазнительна. Сами светят
синью своей небеса.
Как хорошо, что весна на свете!
Как это описать?
Только прислушайся, только приблизься, —
как эти ветви сочны!..
Слышишь, как сами шевелятся листья
этих деревьев ночных?

Этих ветвей, еще тонких и слабых,
чуешь победную дрожь?
Как этот тонкий и радостный запах
в каждую голову вхож!..

### 3

Рука тяжелая, прохладная,
легла доверчиво на эту,
как кисть большая виноградная,
захолодевшая к рассвету.
Я знаю всю тебя по пальчикам,
по прядке, где пробора грядка,
и сколько в жизни было мальчиков,
и как с теперешним несладко.
И часто за тебя мне боязно,
что кто-нибудь еще и кроме
такую тонкую у пояса
тебя возьмет и переломит.
И ты пойдешь свой пыл раздаривать,
и станут гаснуть окна дома,
и станет повторенье старого
тебе — до ужаса знакомо.
И ты пойдешь свой пыл растрачивать...
Пока ж с весной не распрощаться,
давай всерьез, по-настоящему,
поговорим с тобой про счастье.

### 4

Помнишь: поезд, радостен и скор,
скатывался с гор,
темным лоском ливня остеклен,
падал под уклон.
Машинист, должно быть, не жалел угля,
разгонял стремглав.
Паровоз, должно быть, не жалел колес,
нажимал всерьез.
Это было счастье. Счастьем зашатав,
грохотал состав.

Этот грохот, этот запах смол
и сейчас не смолк.
Он стоит, застыв на всех парах,
как туман в горах.

**5**

Губы, перетравленные ложью,
сложенной на тысячу ладов;
груди, перетроганные дрожью
рано наступивших холодов.

По одной единственной примете,
как охотник птицу по перу,
помнишь, я предсказывал про эти
меркнувшие окна ввечеру.

Молодость твоя пройдет впустую,
никого путем не обожжет,
колесом впустую, вхолостую
перекати-полем пропадет.

Именно такая, не иная
все она мне чудится кругом;
может, про нее я вспоминаю
чаще, чем о чем-нибудь другом.

Ты хотела спеться и сдружиться
и подушкой бросить на кровать,
что должно носиться и кружиться
и тревогой-ветром обдавать.

*1933—1938*

## ЛЕТНЕЕ ПИСЬМО

Напиши хоть раз ко мне
                                        такое же большое
и такое ж
          жаркое письмо,
чтоб оно
        топорщилось листвою
и неслось
          по воздуху само.
Чтоб шумели
            шелковые ветви,
словно губы,
            спутавшись на «ты».
Чтоб сияла
           марка на конверте
желтоглазым
            зайцем золотым.
Чтоб кололись буквы,
                    точно иглы,
растопившись
             в солнечном огне.
Чтобы синь,
           которой мы достигли,
взоры
      заволакивала мне.
Чтоб потом,
           в нахмуренные хвои
точно,
      ночь вошла темным-темна...

Чтобы все нам
чувствовалось вдвое,
как вдвоем
гляделось из окна.
Чтоб до часа утра,
до шести нам,
голову
откинув на руке,
пахло земляникой
и жасмином
в каждой
перечеркнутой строке.
У жасмина
запах свежей кожи,
земляникой
млеет леса страсть.
Чтоб и позже —
осенью погожей —
нам не разойтись,
не запропасть.
Только знаю:
так ты не напишешь...
Стоит мне
на месяц отойти —
по-другому
думаешь и дышишь,
о другом
ты думаешь пути.
И другие дни
тебе по нраву,
по-другому
смотришься в зрачки...
И письмо
про новую забаву
разорву я накрест,
на клочки.

*1934*

## ПО ОКЕ НА ГЛИССЕРЕ

Глиссером
по вечерней
медной,
тускло плавящейся
Оке
с дорогою,
неверной,
бедной
схолодавшей
рукой в руке.
Брызгами
разлетаясь на́ стены,
за кормою
кипит вода!
Все безрадостнее,
все явственней
ветер за плечи
рвет года;
зеркалами огня
кровавыми
на осколки
разбивши плес,
над беспамятными
провалами
он былое,
свистя, унес.
Что тут памяти
тускло вспыхивать,

берега
зазря волновать!
Эта выдумка
вечера тихого
неудачна
и не нова.
Этот путь,
прорезаемый глиссером
в предвечерний
речной туман, —
наш,
усыпанный водным бисером,
завершающийся
роман.
Берега
отдаются сумеркам
под жестокую
медь зари.
Ночь летит
с парашюта кувырком,
как ни вспыхивай,
ни гори.
За спиною
режет пропеллер
наше прошлое
без следа...
Берега
навзрыд захрапели,
и без памяти
спит вода.

*1934*

## КОНЦОВКА

Шел дождь. Был вечер нехорош,
недобрый, неуклюжий.
Он извивался у калош
сырой гадюкой — лужей.

Был ветер въедлив, липок, лжив,
зудел и ныл со злости;
не только в помыслах кружил, —
завинчивался в кости.

Небес тяжелая пола
до тротуаров висла.
Такая небываль была,
что все лишалось смысла.

Такая ночь, без слов, без звезд,
такая мразь по коже,
что стало все это — до слез
на правду непохоже.

Такая мраку благодать
без чувств и без созвездий,
что женщина могла отдать
себя в любом подъезде.

Отдать без слов, отдать зазря
у первого порога.
Шел дождь. Шла ночь. Была заря
отложена без срока.

Был ветер въедлив, скользок мрак,
был вечер непроглядный...
И вот оно случилось так,
неласково, неладно.

Он молод был, он баки брил,
он глуп был, как колода,
он был рождения верзил
не нашего приплода.

Читатель лист перевернет
и скажет: «Что за враки?
Ну где в тридцать четвертый год
ты встретишь эти баки?»

Клянусь тебе, такие есть
с тобой бок о бок, рядом.
что нашу жизнь и нашу честь
крысиным травят ядом.

Сырою ночью, смутной тьмой
меж луж и туч таятся.
А ты — воротишься домой,
и фонари двоятся.

Двоится жизнь, двоится явь,
и — верь не верь про это —
хотя бы влет, хотя бы вплавь
пробиться до рассвета.

Хоть всей премудрости тома
подставь себе под локоть...
А женщина? Она — сама.
Ее — не надо трогать.

*1934*

## ОСТЫВАНЬЕ

### 1

Смотри! Обернись! Ведь не поздно.
Я не угрожаю, но — жаль...
И небо не будет звездно,
и ветви остынут дрожа.

Взгляни, улыбнись, еще встанешь,
еще подойдешь, как тогда.
Да нет, не вернешь, не растянешь
спрессованные года.

И ты не найдешь в себе силы,
и я не придумаю слов.
Что было — под корень скосило,
что было — быльем поросло.

### 2

Ты меня смертельно обидела.
Подождала, подстерегла.
злее самого злого грабителя
оглушила из-за угла.

Я и так и этак прикладываю,
как из памяти вырвать верней
эту осень сырую, проклятую,
обнажившую все до корней.

Как рваный осколок в мозгу,
как сабельную примету,
я сгладить никак не могу
свинцовую оторопь эту.

3

От ногтя до ногтя, с подошв до кистей
я всё обвиняю в тебе:
смешенье упрямства и темных страстей
и сдачу на милость судьбе.

Я верил, что новый откроется свет —
конец лихорадки тупой,
а это — все тот же протоптанный след
для стада — на водопой.

Так нет же! Не будет так! Не хочу!
Пусть лучше — враждебный взгляд.
И сам отучусь, и тебя отучу
от жалоб, от слез, от клятв.

Прощай! Мне милее холодный лед,
чем ложью зажатый рот.
Со мною, должно быть, сдружится зима
скорее, чем ты сама.

Прощай! Я, должно быть, тебя не любил.
Любил бы — наверно, простил.
А может, впустую растраченный пыл
мне стал самому постыл.

*1935*

## ЧЕРНАЯ ФРЕСКА

Точно срезана,
точно скошена,
запрокинулась
навзничь она,
перекрытая
тенью коршуна —
обесчещенная
страна.
Обесчещена,
обессилена,
без дыхания
ты лежишь,
и ведут над тобой,
Абиссиния,
стаи хищников —
дележи.
Микеланджело
здесь не пытаться:
кисти
красок таких
не снесут...
Это фреска:
Эксплуатация —
совершает
свой страшный суд.
Судьбы стран
решаются на небе.
Голубой
багровеет Нил.

От Харара —
к Аддис-Абебе
ровен рокот
ангельских крыл.
На бегу
задыхаясь и падая,
подгибаясь
под грозный гуд,
кустари
разоренной Адуи
сонмом грешников черных
бегут.
Что могли
еще они выставить
против свиста
тяжелых бомб?
Только —
рвущийся хрип неистовый,
только —
грудь и курчавый лоб.
Как ни прячься,
куда ни кинься,
поражает
на мили окрест
амхаранцев
и данакильцев
указующий
бомбий перст!
Хорошо,
что мы — не по Данте
ищем крова
небесных крыл, —
первый маршал
перчаткой затянутой
движет сонмы
воздушных сил.

*1936*

## ВДОХНОВЕНЬЕ

Стране
не до слез,
не до шуток:
у ней
боевые дела, —
я видел,
как на парашютах
бросаются
люди с крыла.
Твой взгляд разгорится,
завистлив,
румянец
скулу обольет,
следя,
как, мелькнувши,
повисли
в отвесный
парящий полет.
Сердца их,
рванув на мгновенье,
забились
сильней и ровней.
Вот это —
и есть вдохновенье
прилаженных
прочно ремней.
Казалось:
уж воздух их выпил,

и горем
примята толпа,
и вдруг
как надежда,
как вымпел,
расправился
желтый тюльпан!
Барахтаться
и кувыркаться
на быстром
отвесном пути
и в шелковом
шуме каркаса
внезапно
опору найти.
Страна моя!
Где набрала ты
таких
нерассказанных слов?
Здесь молодость
бродит крылата
и старость
не клонит голов.
И самая ревность
и зависть
глядят,
запрокинувшись,
ввысь,
единственной
мыслью терзаясь:
таким же
полетом нестись.

*1934*

## ЕЩЕ ОДНА

На север,
на север —
в морской великий путь
ложится
ледореза
натруженная грудь.

С востока
на запад
задание дано
пробиться
впервые
по броне ледяной.

Подался
с гулом громким
на стороны лед:
мы знаем —
там, за кромкой,
Союз Советский ждет.

Еще одной
победы
он ждет и в этот раз,
еще одной
пропетой
песни про нас.

Чукотский лед —
не сахар —
мы грызли, как сверло.
Такие льдины
встретились,
что сердце замерло.

Механики
работали
авральной порой.
Не отставал
от первого
ни третий, ни второй.

Была команда
дружная,
из цельного куска.
Была погода
вьюжная,
крутила у виска.

Да нас
не закружила,
не сбила наугад;
не ослабела
сила
сменявшихся бригад.

Застрявшим
пароходам
не шутки и не смех:
гуськом
на воду чистую
мы вывели их всех.

Гуськом
на воду чистую
сквозь облачную тьму
мы выручили,
выстояв,
разбили их тюрьму.

Мы заходили
в Тикси
и к острову Диксон;
мы видели,
что всюду
полярный сломлен сон.

Везде
кипит работа,
где раньше ни следа —
упорного
расчета
и страстного труда.

Теперь —
чиниться в доки,
приняв обычный вид.
Но голос бурь
высокий
в ушах у нас звенит.

Белесой силы
слитки
нам не запрудят вод,
и снова
двинет «Литке»
свои машины в ход!

На север,
на север —
в морской великий путь
направим
ледореза
напористую грудь.

Ни бури,
ни пробоины,
ни холод ледяной
не скроют путь,
освоенный
отважною страной.

Раздайся
    с гулом громким
на стороны, лед:
мы знаем —
    там, за кромкой,
Союз Советский ждет.

Еще одна
    победа —
и в этот раз
еще одна
    пропета
песня про нас!

*1934*

## ПЕСНЯ И ПЛЯСКА

*Сулейману Стальскому*

В краю посветлевшем,
    помолодевшем
и пляской и песней
    мы душу потешим.
Мы память почтим твою,
    песенник старший —
чернил и бумаги
    не ведавший, Стальский.
Твой смолкнувший звук
    мы подхватывать станем
с тобой, со счастливым
    твоим Дагестаном.
Чтоб север Кавказа
    шумел от рассказа,
чтоб горы сияли
    и пели поля,
чтоб песнь подхватила
    и грянула разом
большая советская
    наша земля.
Мы тихо прихлопывать
    станем в ладоши,
чтоб лучше плясалось
    в стране молодежи.
Ни в звуке, ни в смысле
    не будет обмана:

струна не сдавала
    в руке Сулеймана.
А мы ее взвеем,
    а мы за ней грянем
об утре веселом,
    о времени раннем.
Чтоб горы и долы
    гремели от гула
под рокот Осада,
    под песню Джамбула.
И вот из далека
    сочувственный голос
в ответ поднимают
    Купала и Колас.
И горе былое
    по степи размыкав,
летят к ним навстречу
    напевы калмыков.
Чуваши и тюрки,
    и ерзя, и коми
живут все счастливей,
    поют все знакомей.
И вот начинают
    летающий танец
мингрелец, абхазец
    и дагестанец.
И полы черкески
    на локти откинув,
мелькают в лезгинке
    и вьют Шамиля —
веселые ноги
    мингрел и лезгинов.
И пляшет в работе
    вся наша земля.

*1937*

## ПЕСНЯ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ

Говорят, в Тюмени
любят есть пельмени,
а больше о Тюмени той
и слыхом не слыхать.
И вдруг из той Тюмени
лыжи зашумели —
ласточками зимними
начали порхать.

Зашумели лыжи,
зашуршали ближе.
Кто идет?
Приложим руку козырьком.
Кто летит по снегу
со всего разбегу,
через буераки,
над сонным озерком?

Сила и уменье
мчат к нам из Тюмени,
стелют с горки на гору,
опушкой по леску.
Здоровых сил излишек
к нам движется на лыжах,
пошла Тюмень далекая
приветствовать Москву.

Лыжи тонко тесаны,
волосы зачесаны,
щеки от мороза
разрумянились свежей.
В дивизии стрелковой —
народ, видать, толковый,
а жены командиров —
не менее мужей!

Идут они тайгою,
одна за другою,
прекрасны и настойчивы
в движении своем.
Под инеем хрустальным,
в стремленье неустанном —
и прямо к Ворошилову
приходят на прием.

Когда такое было,
чтоб лыжи доносило
от самого Урала
до самого Кремля?
У нас такое было,
у нас такая сила,
у нас такая поступь,
такая земля!

На Электрозаводе
все в хлопотах, в заботе:
садитесь, ешьте, кушайте,
снимайте ремень,
про путь свой расскажите,
беседу завяжите,
а после отдыхайте,
подружка-Тюмень!

Нины, Веры, Клавы,
о вас повсюду слава,
пред вами расстилается
блестящий светлый путь.

Вас, женщины советские,
не сдуют ветры резкие
и вьюги не заставят
в сторону свернуть.

Прошло не больше года,
и с Электрозавода,
в ответ на этот дальний
веселый визит —
бригадой комсомольской
до самого Тобольска
отряд девчат отважных
на лыжах скользит.

Да что ж это такое,
что нету им покоя,
что нету их разгону
предела-рубежа?
Ни вьюги не таятся,
ни волков не боятся,
две тыщи с половиной
километров пробежав.

А дальше из Тобольска
шумят: «И нам не скользко,
пойдем до Ленинграда
на следующий год!»
Опять рывок от старта,
и вот к Восьмому марта
закончен будет новый
рекордный переход.

Нины, Веры, Киры, —
вы сами командиры,
пред вами вот он стелется,
блестящий светлый путь.
Вас, женщины советские,
не сдуют ветры резкие,
и вьюги не заставят
в сторону свернуть.

Ну, где такое было,
чтоб лыжи доносило
до самого Урала
от самого Кремля?
У нас такое было,
у нас такая сила,
у нас такие женщины,
такая земля!

*1938*

## СЧАСТЬЕ

Что такое счастье,
милый друг?
Что такое счастье
близких двух?

Выйдут москвичи из норок,
в белом все, в летнем все,
поглядеть, как на планерах
дни взмывают над шоссе.
По шоссе шуршат машины
на лету, налегке.
Тополевые пушины —
по Москве по реке.
А по лесу, по опушке,
здесь, у всех же на виду,
тесно сдвинуто друг к дружке,
на серебряном ходу
едет счастье краем леса.
По опушке по лесной
пахнет хвоевым навесом,
разомлелою сосной.
Едет счастье, едет, едет,
еле слышен шины хруст,
медленно на велосипеде
катит драгоценный груз.
Он руками обнял стан ей,
самый близкий, самый свой.
А вокруг зари блистанье,
запах ветра, шелест хвой.

Милая бочком уселась
у рогатого руля.
Ветер проявляет смелость,
краем платья шевеля.
Едет счастье, едет, едет
здесь, у всех же под рукой, —
медленно на велосипеде
ощущается щекой.
Чуть поблескивают спицы
в искрах солнечных лучей.
Хорошо им, видно, спится
друг у друга на плече.
А вокруг Москва в нарядах,
а вокруг весна в цвету,
Красной Армии порядок,
и — планеры в высоту.

Что ж такое счастье
близких двух?
Вот оно какое,
милый друг!

*1935*

# Стихи из разных книг

## 1930—1941

### ЕСТЬ МОЛОДОСТЬ

Есть молодость счастливая,
есть молодость пытливая,
питомица наук,
не так уж прихотливая
на вкус, на цвет, на звук.

Отменные деляги —
солдаты, моряки,
исполнены отваги,
у них на сердце флаги,
они — как маяки!..

Но есть другая молодость
(обсевок небольшой),
от внутреннего холода
застывшая душой.

Ей ни во что не верится,
ей на ноги не встать,
ей с лучшими не мериться
и лучшего не ждать.

Ну что ж, если несчастья
ей обломали рог —
брести среди ненастья
без цели, без дорог!

Она уже не ищет
себе больших путей,
кружит, в три пальца свищет
без мысли, без затей.

А если затевает
неверные дела —
замки с дверей сбивает,
решив: «Моя взяла!»

Вот их потом посадят —
сиди который год!
Не рад такой рассаде
советский огород...

Ну как мы допустили,
чтоб стыли их сердца,
чтоб, ближним опостыля,
срывались до конца?

Ведь мы за них в ответе,
за их концы концов.
Ведь это — наши дети,
забывшие отцов.

Вернем же их на место —
очищенным зерном —
в советское семейство
за шиворот вернем!

Ведь им не кнут, не ласку,
а надо дать понять,
что им лицо на маску
невыгодно менять.

Не знаю, как наука, —
не всякий к ней привык, —
но вкуса, цвета, звука
понятен всем язык!

*1930*

## ОДА ЗАВМАГУ «СВИНОВОДА»

Из всех восторгов —
самый противный
это — восторг
административный.
...Течет по Тверской
людская река,
шумят
человечьи воды.
И глаз им ласкают
окорока
из окон-витрин
«Свиновода».
Там
такие салами —
толстяки-колбасы, —
просто
руки заломи,
стой
и улыбайся.
И, видя их
из-за стекла
и оценив
по выставке,
за ними
в магазин текла
толпа,
не чуя мистики.
Но, только туда
ступив за порог, —

ссыпáлись
с порога назад
как горох.
Чего бы
взад-вперед
метаться ей,
плевать и ворчать,
сваляв дурака?!
Оказывается —
весь магазин —
имитация:
и колбасы,
и заведующий,
и окорока.
Из дерева
гладко и ловко обструганы,
раскрашены
самой розовой краской,
они
вызывают к естественной ругани
всех
задумавших полакомиться колбаской.
...Бичей не вздымаю
в этом разе я:
здесь теме не нужен
заплечный замах, —
что делать,
если у человека фантазия,
и к декорациям
склонен завмаг!
Давайте решим
согласным хором,
не кроя тех,
кто таланты таят:
завмага этого
перевести бутафором
в какой-нибудь
менее реальный театр!

*1931*

## РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Привет
ударнику в литературе!
Товарищ,
дай пять!
Надеюсь, ты скажешь ей,
брови нахмуря:
довольно,
кончай спать!
Пора.
Давно пропущены сроки.
Вставай
с пейзажных полян.
Положим конец
полемической склоке —
борьбой
за промфинплан.
Ты вымолвишь
это веское слово,
в котором
каждая буква пряма.
А писатель
повернется —
и снова
давай дремать.
Потому —
неизвестно,
как бороться
каждому
из своего огородца,

ведь писатель —
спец в душевном рытье —
давным-давно уже
стал рантье.
Экономике обучаясь,
уже
из нас понимают
многие,
что не психология
определяет бюджет,
а бюджет —
психологию.
А в литературе,
психологией я́дра
меча,
философы некоторые
скромничают,
прячут свой адрес
от
фининспектора.
Прямо
двоятся
по ходу действия:
живут в Москве,
а прописаны в Одессе.
А есть и такие,
кто, став к станку,
продолжает грести
в Госиздате деньгу.
Глаз на подобном «рабкоре»
не тешьте, —
ходил и Толстой, мол,
в такой прозодежде.
Чтоб положить
конец самотеку,
страстей раскаленных
утишить жжение,
нужно упорядочить
эту суматоху,
урегулировать
спрос и предложение.

Чтоб и читатель знал,
                    чего он хочет,
и писателю
          было б верней,
нужно автора
          орабочить,
орабочить
          до самых корней.
Чтоб чтение книги
                    было желанно,
чтоб был писатель
                    к строительству рьян, —
товарищ ударник,
                    часть общего плана
строй —
          литературный промфинплан!

*1932*

## СМЕРТЬ ОКСМАНА

В меру сил моих,
и в меру чувств моих,
и в меру опыта —
все,
чем жизнь могла б моя
гордиться,
все,
что сердцем
и рассудком дóбыто, —
стань на стражу
памяти партийца!
Чтоб его не забыли,
чтоб его не закрыли
горы дел бессомненных
и сомнительных фраз, —
чтоб его
на кладбище глухом
не зарыли
от рабочих
спокойных
внимательных глаз.
...Слава
рабочего класса!
Люди
борьбы и труда!
Сбирайтесь
на песне поклясться —
на площадь поэмы,
сюда.

Мы станем рядами,
тесно,
мы стянем
память в кольцо,
чтоб
не заплыла в тесто,
чтоб слава
слыла повсеместно
безвестно павших
бойцов.
Чтоб память
о них гремела
под сводами
будущих лет;
чтоб молодости
примером
светился
их славы след.
Чтоб память
о них гудела
по самым глухим
углам,
не падала чтоб,
не редела,
чтоб не было ей
предела,
куда б она
взмыть ни смогла!
...Горы событий,
времени груды
дыбит к небу
земная кора.
Эльбрус распушил
свои белые груди;
Шат-гору обгоняет
Бештау-гора.
И за этим могучим,
крутым пятигорьем,
на которое каждый бы
встать притязал,

со своим неотъемлемым
каменным горем
затаился
остатний отряд партизан.
...Кисловодск,
тридцать второй год.
Пальмы,
майки,
ванны нарзанные.
Среди пальм,
и пижам,
и прочих вольгот,
как втесались сюда
партизаны?..
Я проснулся.
Откинул гардину вбок,
посвежевшим,
тугим,
здоровым.
И внезапно
сердца скрутился клубок
перед зрелищем этим
суровым...
Дули трубы,
пилила и жалила скрипка,
санаториев
мертвенный сон возмутив.
Повторялся
и вскидывал голову хлипко
этот горький,
выморочный мотив.
...В Кисловодске
не только лечатся.
Воздух
в горные грани
влит.
Небо голо.
Источник плещется.
Процветает
тяжелый флирт.

Бродят пары,
любовью спаянные,
в парке,
точно в обширной спальной.
Вечерами
их видишь мельком,
прижимающихся
по скамейкам,
так как сторож
взимает штраф
за попранье
общественных трав.
Что ж, я думаю,
и мпе кажется:
это ничуть
не плохо.
Ухо я
не зажимаю ханжески
от глубин
любовного вздоха...
Но когда рукой
огромной,
истука́менной,
точно
пятипалая гора,
смерть прикроет нас
и истекаем мы
боли свежей горечью
горя, —
тогда призываем мы
музыку, стихи,
тогда мы прислушиваесмся
к гомону стихий,
тогда мы движемся
в такт, в шаг
маршу,
взмывающему в ушах.
...Шли партизаны
нога не в ногу.
Шапки бараньи,
ичиги́.

Шли партизаны,
их было немного, —
шаг начиная
не с той ноги.
Шли партизаны.
Горные люди.
Пыль и морщины,
как траур, влача,
тяжесть обвалов,
грохот орудий
пылью бешметов
неся на плечах.
Шли партизаны.
Черны.
Седоусы.
Оплечь винтовки.
Вноясан стан.
Те,
что на милость врагу
не сдаются.
Шли партизаны.
Чечня.
Дагестан.
Шел аварец,
шел карачаевец,
шел ингуш,
осетин,
мингрелец.
Такие,
сдвинувшись,
не ворочáются,
не достигнув
намеченной цели.
А над ними
кручей непролазных троп —
горы
тучи разметали космами.
И у плеч их
рваной раной —
гроб
товарища Оксмана.

...Читатель скажет:
опять раз в сотый
кроит поэт
социальный заказ.
Вот Пастернак —
описал нам красоты.
Вот это — Лермонтов.
Это — Кавказ!
А я Кавказ
другим не вижу,
не вижу
белых эльбрусских грудей,
иначе,
как через красную жижу
вот этих
Кавказ отстоявших
людей!
Не на удивленье
и не на показ —
высок и велик
Кавказ.
И не на удивленье
и не на показ —
об этих людях
рассказ.
Что соединило их
у гроба
в серебре
невыбритых щетин?
Почему их
не взрывает злоба,
и мингрельца
терпит осетин?
Кто поставил их
друг с другом рядом?
Кто сумел
их руки жарко свесть,
чтоб, не меряясь
орлиным взглядом,
шли,
забывши родовую месть?

Кто тот Оксман?
Что это за птица?
Сверхумен он
или сверхсилен?..
Вот какой Кавказ
вокруг хребтится!
Сколько гор в нем —
столько и племен!
. . . . . . . . . . . . . . .

*1933*

## БЕРЛИНСКИЙ МАЙ

Александерплац —
Александровская площадь,
полицейпрезидиум —
управление полиции;
в общем,
перевода не может быть проще:
фашистская резиденция
свиреполицая.
Втянув шеи,
заглянем туда.
Площадь.
На площади чинно и чисто.
Первое мая —
«день национального труда»
(в переводе —
«крой евреев и марксистов»).
Жидкие колонны
колышутся сперва
очередью
выверенных линеек;
колонна от колонны
держит интервал,
чтоб шествие казалось
как можно длиннее.
Бывшие вильгельмовские
юнкера,
банды угрюмых
убийц матерых.

Колонна.
Дыра.
Колонна.
Дыра.
Рядом —
сыщики на моторах.
Взгляд туполоб.
Подбородок крут.
И, если заметят
«марксистскую фигуру», —
начнется такой
«национальный труд»,
что хоть на звезды
рассматривай шкуру.
За ними асфальт
остается не пуст, —
нашлись
и другие канальи:
кряхтят
от патриотических чувств
зады,
разжиревшие во 2-м Интернационале.
За свастикой,
пауком извивающейся по флагам,
ощипанные
в фашистском вкусе,
идут,
вышагивая гусиным шагом,
социал-демократические
гуси.
Какой они Рим
спасать пошли?
Какой отстаивать
лозунг партийный?
Так бесстыжи
и так пошлы,
что даже описывать их
противно!
Продававшие рабочих
в розницу и оптом,

гасившие гнев их
фонтанами речей, —
идут,
умудренные предательств опытом,
лакеи
погромщиков и палачей.
Идут в направлении
Темпельгофер-фельда
(самый большой
в Германии аэродром),
идут под командой
фашистского фельдфебеля,
потупивши глазки,
виляя бедром.
Прикажут им повелители:
«Целься!»
Присвистнут хозяева:
«Пиль! Апорт!»
И все эти
Лейпарты,
Гросманы,
Вельсы
ощерят зубы
рабочим в упор.
Идут выбритые,
чистые,
розовенькие,
остатки стыда
растерявшей гурьбой,
идут подкрепить
фашистские лозунги
расовой борьбы
с классовой борьбой.
Пройдут
с фашистами Цергибели вместе,
пройдут
реформистские их дружки...
И тогда затрепещут
по берлинским предместьям
подпольные листовки
и красные флажки.

Кой-где заварится
кровавая каша,
кой-где прострочит
квартал пулемет,
но все равно мы знаем,
что наша
возьмет!..
Хорошо,
что в праздник наш первомайский
они не висят
на рабочем горбу;
с их харь
послетели цветистые маски,
и свастика
засияла на лбу.
Теперь поймет
рабочий Германии
(клеймо не сведешь,
мелком забеля),
с чьей помощью
Гитлеры власть прикарманили,
и за кого коммунисты,
и за кого Цергибеля!

*1933*

## КРАСНОЙ ГВАРДИИ ПАТРУЛЬ

Ночь тревожна,
ветер грозен,
не затихнет поутру.
«Кто идет?
Пароль и лозунг?» —
«Красной гвардии патруль!»

В шуме песен,
в блеске молний,
от господ не жди добра,
нас повсюду
выслал Смольный —
в руки власть свои забрать.

Пулеметные
обоймы
на груди перекрестя,
день и ночь
готовы в бой мы
за рабочих и крестьян.

Пред рабочей
диктатурой,
пред мильоном наших глаз —
ни под чьей
фальшивой шкурой
враг не спрячется от нас.

Ночь тревожна,
ветер грозен,
не затихнет поутру.
«Кто идет?
Пароль и лозунг?» —
«Красной гвардии патруль!»

*1933*

## ПАРТИЗАНСКАЯ

Мундиры Антанты пышны и пестры.
    Горите, партизанские костры,
горите — освещайте и горы и тайгу
    на горе и на гибель врагу!

Столбом поднимайся, смолистый дым —
    бойцов разделенных маяк.
Мы новую армию создадим,
    в гражданских закаленную боях.

Архангельск, и Мурманск, и Северный Кавказ
    запомнят преданья о нас,
как кровью рабоче-крестьянскою тек
    и Север, и Дальний Восток.

Концы красных звезд горячи и остры.
    Горите, партизанские костры,
горите — говорите, как шли мы и дрались
    в сраженьях за социализм!

*1933*

## ИГРАЙ, ТЕАТР!

Бывало,
к Каретному ряду
подкатит
под сеткой рысак,
утробного
нрава и складу
тяжелую тушу
неся.
Встречают
дебелое барство
лакейский уют
и почет.
И сало
сабуровских фарсов
со сцены
по залу течет,
и плоскость
исхлестанных шуток.
И млеют в саду
до зари
над толпами
проституток
опухшие
фонари.
И вот
он
выходит из ряда,
иной
порожденный средой,

московского
пролетариата
упорный
театр молодой.
Он,
поступью крепкой ступая,
выходит,
не робок и свеж,
и фарсы сметает
«Чапаев»,
и занавес зыблет
«Мятеж».
И звонкостью
синеапрельской
из затхлого
заперти
кладет он
гудящие рельсы
на новые
жизни пути.
Так
над болотом и тиной
гражданские
длятся бои.
Над пошлостью
и рутиной
мы
сваи вбиваем свои.
Хорошо,
когда нашей игрою,
нашей жизнью
сцена полна,
когда
нашего века героев
перекатывается
волна.
Когда,
нашей болью болея,
нашим праздникам
вклинившись в ряд,

молодого
несет юбилея
неостынувший трепет
театр.
Хорошо,
что не пышная тризна,
хорошо,
что не смутная тень,
хорошо,
что на сцене — не призрак,
а сегодняшний,
явственный день.
Хорошо,
что движенья и вздохи,
что словами
не передам,
как немолкнущий
трепет эпохи
перепархивает
по рядам.
Что,
как ток
от большого мотора
через
передаточный вал,
от взволнованного
актера
переходит
в зрительный зал.
Играй, театр, играй!
Всех жизни граней
тебе не перечислить
и не счесть,
но и один отсвет
ее играний —
великая,
ответственная честь.
Играй, театр, играй!
И чем багряней
твоей игры
расцветка будет цвесть,

тем глубже
сердце вражеское раня,
ты победишь
и зависть их,
и месть.
Играй, театр, играй!
На самой крайней,
на самой узкой грани,
что ни есть,
прислушайся:
рукоплесканьем грянет
твоей победы каждодневной
весть.
Тебе привет —
всех новых сил собраньем,
что жизни соль
горячую таят...
Играй, театр, играй!
Зари блистаньем
ранним —
сверкай, театр!

*1934*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Краматорский завод! Заглуши мою гулкую тишь.
Пережги мою боль. Помоги моему неуспеху.
Я читал про тебя и светлел — как ты стройно блестишь,
как ты гордо зеркалишься сталью от цеха по цеху.
Это странно, быть может, что я призываю тебя.
Представляю твой рост — и мороз подирает по коже.
Только ты целиком — увлекая, стыдя, теребя, —
и никто из людей эту тяжесть свалить не поможет.
Говорят, ты железные можешь чеканить сердца
и огромного веса умеешь готовить детали.
Ты берешь эту прорву осеннего будня-сырца,
чтоб из домен твоих — закаленные дни вылетали.
Вдунь мне в уши приказ. Огневою рудой отбелей,
чтоб пошла в переплав полоса́ эта жизни плохая,
чтоб и я, как рабочий, присев в полосе тополей,
молодел за тебя, любовался тобой, отдыхая.
Говорят, и у Круппа — твоим уступают станки,
и у Шнейдер-Крезо — не видали таких агрегатов.
Но и чувства бывают настолько сложны и тонки,
что освоить их сможет никто — как сквозная бригада.
Человеческий голос негромок, хоть он на краю,
и бывает: все самые тонкие доводы — грубы.
Краматорский завод! Вся надежда моя на твою
на могучую силу, на горны твои и на трубы.

*1934*

## ПЕСНЯ О «ШИСС-ДЕ-ФРИЗЕ»

Стоит станок, стоит станок —
                                        ворота!
Немало заменяет он
                                        народа.
Стоит станок,
                    сторук, стоног,
в работе спор,
                    в плечах широк.
Стоит станок под маркой «шисс-де-фриза»,
не знает ни отказа, ни каприза.

Стоит станок, стоит станок —
                                        ворота!
Немало заменяет он
                                        народа.
Немало жил,
                    немало сил
он у рабочих
                    сохранил:
где сотнями хребты себе ломали,
там пятеро ребят фасонных встали.

И каждый парень выглядит
                                        неглупо,
глядит, следит, как плавно ходит
                                        суппорт.
Шипит резец,
                    идет деталь,

дымит и вьется
стружкой сталь, —
стоит на смене дружная пятерка.
Не отставай в работе, Краматорка!

Ребята эти ладные, —
что надо! —
не кинут зря
внимательного взгляда,
а если кинут,
полюбя,
то жить не станут
без тебя,
без той, что им отрада и утеха,
девчонки механического цеха.

Пойдем с тобой, пойдем весной
по травке,
присядем на минуточку
на лавке
и глянем вместе
без забот,
какой красавец
наш завод!
Какой с тобою рядом есть красавец,
чужим глазам на ревность и на зависть!

*1934*

## РАССТАВАНЬЕ

*Памяти*
*Сергея Мироновича Кирова*

**1**

Вдалеке от Москвы,
в глубине вечеров,
по заводам, селеньям, колхозам,
зимовкам, аулам,
сквозь концерты, романсы, фокстроты,
сквозь английскую, шведскую речь,
растолкав их локтями,
пробивается радиовесть
и, советских людей леденя,
поднимает со стульев.

Сообщенье правительства горестно:
«Киров злодейски убит...
В каждой нашей победе —
его соучастье и воля...»
По заводам, колхозам, аулам
волненье рябит,
и сжимаются пальцы,
и сердце теснеет до боли!

На заводе — собранье:
за рядом насупленный ряд,
речи кратки;
суровые взгляды,
и скулы и брови;
и не в том здесь великое —
складно ль, красно ль говорят, —

напряженные мускулы
держат ответ наготове.
И бригадами Кирова
гнев пламенеет в цехах,
и никак этот гнев
не вместить ни в словах,
ни в стихах.

Слет парторгов.
Уже прокатилась
чугунная весть;
все фигуры и лица
привычно близки и знакомы,
но какой-то оттенок,
какая-то разница есть
в напряжении скул...
Говорит секретарь
заводского парткома:

«Есть минуты, товарищи...
Горечью дух завело...
Всю страну сотрясают
мгновенья суровые эти!
И стремятся рабочие
к партии под крыло,
как слетаются птицы в грозу
под широкие ветви.
Мимо нашей беды,
мимо жаркой рабочей слезы
не пройдешь,
круговой не заметив поруки!
Это кировский — слышите? —
в двери стучится призыв.
Это тень его
соединяет рабочие руки!
Он был исполнителем
воли класса, —
на нас покушались,
его сразя...
У станов и домен
должны мы поклясться,

что волю класса
согнуть — нельзя!
В нас подлым убийством
страх не заронишь,
на вражеский выстрел —
залпом страна...
А мы твое имя, Сергей Мироныч,
запомним на вечные времена.
Чтоб облик твой
в сердцах не истерся,
чтоб голос,
который невозвратим,
навек не пресекся,
мы, краматорцы,
в звонкость стали
его воплотим.
Так лейся же, сталь
молодого расплава,
работа, от выстрела
не стихай!
Товарищу Кирову — вечная слава,
и сила и бодрость его — по цехам!»

И снова вечер...
По радио ищем Москву,
и снова в приемниках
траурных маршей разряды,
и долго-долго
свою изнывают тоску
осиротелые гудки Ленинграда.
И трепет по телу
раскачивающейся стеной,
и горестно, горестно
плакать со всею страной!

2

Нынче по Кировской гонят троллейбусы,
школьникам в кировских школах — уют;
дым над заводами Кирова лепится,
уголь из кировских шахт подают.

Не уничтожить, из строя не вывести,
не прорасти замогильной травой —
радостной силе, веселой правдивости,
неотразимой улыбке его.

Что б вы ни делали, где бы вы ни были,
жизнь эту вспомнив без всяких прикрас,
знайте, что речь здесь идет — не о гибели,
а о бессмертии начат рассказ!

*1934—1948*

## НЕССА

Время зыблется тенью рябой
достижений, сомнений, любовей;
обрастает щетиной дубовой;
разводя и вздымая прибой,
время пенится темной водой...
Города — пески засыпают,
и они, обвалясь, засыпают
под ковылью-травою седой.
И в беспамятстве сплывшихся лессов
из-под сдавленной груды веков,
оборвав бормотню стариков,
вырывается профилем *Несса*...
Как она молода и цельна!
Как горят твои губы, геолог,
когда времени сомкнутый полог
разрывает зубцами стена.
Крутит мышцы тугой ураган.
Горизонт разогнется дугою,
и сверкнет запыленной серьгою
пересохший до сердца курган.
Чья мечта устоит перед ней?
Сваи лет рассыпаются, прелы,
и пронзают парфянские стрелы
воздух наших торжественных дней.
Нет, недаром нас воля вела.
Как мы ринемся в эти пространства,
как рассудят тогда беспристрастно
наши помыслы, наши дела!

И хоть слова один перелив
до иных долетит, лихорадясь,
как дворец, что стоит горделив, —
донесет свою крепость и радость.
По походке, движеньям, лицу,
в самом сне, запрокинутым видом,
я ни в чем тебя, время, не выдам
и — таким, как ты есть, донесу.
Донесу этой стройки размет,
эту мелкую опорошь щебня,
эту выправку песни учебной,
этот с горечью смешанный мед,
чтобы с гневом любовь пополам
время гнуло зубцами, не гладко,
чтоб ясна была каждая складка,
чтобы наших времен лихорадка
пронеслась по другим тополям.

*1935*

## МЕТЕХ

И тех и этих,
и этих и тех,
забытых
и близких самых,
когтил
в тяжелых лапах
Метех —
угрюмый
тюремный замок.
Томленьем
самых смертных истом
грозя
ни в чем не повинным,
темнел
тяжелым своим гнездом,
железным крылом
совиным.
По этим ребристым
булыжным камням,
тесня
и толкая грубо,
стянувши руки
тоскою ремня,
вводили
за группой группу.
Пригнувшись,
двое тюремных ворот
хранили
на волю выход.

На том берегу
теснился народ
в заботах
копеечных выгод.
Гремел прикладами глухо
конвой
за вновь прибывшим
отрядом,
и скрещивался
взгляд огневой
с тяжелым
совиным взглядом.
Им нечего было
отрицать:
повсюду
в загорной шири
друзей их
чувствовались адреса
и явочные квартиры.
Их всех рассаживали
по номерам —
по узким ущельям
камер,
чтоб взгляд их
медленно умирал,
чтоб голос
с годами замер.
Но солнце
било в окошко тюрьмы,
и горы
синели близко!..
И облака край —
как под дверьми
подсунутая записка.
И голос не глох,
и взгляд не потух,
и правды
не скроешь, припрятав:
тюремной азбуки
перестук

гремел
звучнее
приkладов.
Была такая
крутая пора,
что дух
отрывался от тела, —
река Кура,
быстра и скора,
без памяти
вниз летела.
Река Кура
крутилась винтом,
плоты по ней плыли
с песней;
то там, то здесь
заливался кинто
бесхитростный
и беспечный.
Казалось,
шел по реке маскарад —
безудержное веселье, —
катилась река,
шумна и скора,
без всякой,
казалось,
цели.
Но — перепиленный
падал замок,
и, вниз
скользя
по обрыву,
тень,
похожая на Камо,
врывалась
в речную гриву.
Плоты скользили,
сады цвели,
орлы
над взгорьем кружили;

и зря
винтовочные стволы
их дальний полет
сторожили.
Не смяв,
не сдавив,
не погасив
их воли
ни пыткой,
ни страхом,
угрюмого замка
тяжелый массив
в Куру осыпается
прахом.
И если б на память
зарисовать
его захотел
теперь я, —
то вот его облик:
слепая сова
в Куру
осыпает перья.

*1935*

## ДЕТСКОСЕЛЬСКИЕ СТИХИ

### 1

Опять ты расстроился, идиот, —
ну что это за такое?
Опять тебе женщина не дает
ни радости, ни покоя!

Не думай обиды искать ни с кого
и жалобить и упрашивать.
Припомни того, с головой восковой,
себя осудившего заживо.

Когда все спокойны, когда все спят
в объятьях с честной подушкой,
трясло и его с головы до пят
полуночной колотушкой.

Припомни сейчас же, скорей о нем
последнюю строчку с пера его.
Он также — такую ж игру с огнем
себе беспрестанно устраивал.

Ну что же, подумай, скажи, ответь,
себя не пытая, не мучая:
что лучше — немедленно помертветь,
или — от случая к случаю?

Когда все спокойны, когда все спят,
все мирно и ровно дышат,
ты слышишь, как жизни крутой водопад
становится глуше и тише?

Ну что же с того, что она приласкать
тебе оказала милость?
Смотри: седина у тебя не в висках, —
на жизни на всей появилась.

На возраст свой спиной обопрись,
ведь этому — лет уже с триста, —
у женщин бывает большой каприз
и маленькие капризы.

Так вот они, эти тоска и бред,
которых никак не вынести,
и руки, и губы, и брови пред
в своей последней невинности.

Но ты не узнаешь ее тона́,
цвета́ и оттенки тела...
Ну что, скажи, с того, что она —
тебя приласкать захотела?

Что толку, что губы дала на миг,
что будто бы чуть взволновалась?
Ведь не было тех, настоящих, самих,
а эти — такая малость!

## 2

Не мучь же себя, не томи, не терзай:
все лучше, чем сердца бездействие.
Ты ездил когда-нибудь в русский Версаль,
в село это самое в Детское?

Там жизнь, внезапно назад пронесясь,
тебя остановит и тронет, —
такой неожиданный он, ренессанс,
такой откровенный и стройный.

Так вот тебе мой последний совет:
беги, ужасаясь и пятясь,
дворцов Катерин и Елисавет,
простерших навстречу объятья.

Иначе не вырвешься, не уйдешь, —
задержат, закружат, задушат
безудержных линий разгул и кутеж
и груды истлевших подушек.

На возраст свой прочней обопрись,
ведь этому — лет уж триста, —
ведь вот — белеет — Большой каприз
и маленькие капризцы.

Удары сердца с временем сверь,
и если, застыв, не двинется, —
такой вот и будет, должно быть, смерть
в своей абсолютной невинности.

*1936*

## ПОМПЕЯ

Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

*Маяковский, «Облако в штанах»*

### 1

### Говорит автор

Жарою разморенный
и разваренный,
от мертвой вечности
тупея,
я стороной объезжал
развалины,
в которых валялась —
в пыли —
Помпея.
Я представлял себе
эти скважины
и пломбы
выветренных керамик,
которые
в мастику сглажены
ветрами,
что и сердце ранят.
Я представлял себе
все трещины,
веками
стершиеся плиты,

где эти груди
крепко скрещены
и эти бедра
плотно слиты.
Я представлял:
глазами скользкими
осквернена
их смуглотелость
любви,
раздавленной осколками,
и мне
их видеть не хотелось.
И вдруг она,
былая, страстная,
мелькнув плечом
упругой славы,
передо мной,
пылая и здравствуя,
взвилась из пепла
и из-под лавы.
И я увидел
в сплыве пламени,
залившем губы
и террасы,
что этот юноша —
моего племени
и эта девушка —
моего класса.

## 2

### Говорит юноша

Я не узнаю
твоего лица.
Постой,
это не оно!
За темный
стрельчатый палисад

два неба
заведено.
Два неба,
две детских голубизны,
где — ясность
и прямота.
Ну как, скажи мне,
я буду без них
стихо́м —
тебе пыль разметать?
Я не узнаю
этой страны.
Два неба,
два неба
над ней.
И первое небо —
пустой старины,
второе —
нынешних дней.
То новое небо,
где — синь высока
дугой
разгибает восток,
и прежнее — стой!
Это не закат, —
другой,
неизжитый восторг!
Я жизни своей
не узнаю́,
летящей то в холод,
то в зной,
и вот начинаю я
песню свою
под новой
голубизной.
Лица,
и страны,
и песни прибой —
все сдвинулось
в свод голубой,

когда ты уходишь
моею судьбой,
и пахнет подушка
тобой.

### 3

Горного города
театральщина,
бутафория
оперной сцены,
но сила трагедии
не растрачена
и ударяется
в эти стены.
И сердцу
в двойной перспективе
стынется, —
и кто посмел
мечтать о таком бы:
это комната
этой гостиницы
или ниша
той катакомбы?
Напоминаю:
я даже не видел их;
может, сам я
в огне истаю
в этих поисках
и открытиях
у подножья
горы Бештау.
Низкий голос поет,
вибрируя:
«Упади
надо мною тенью,
я тебя
из-под пепла вырою,
из-под славы,
из-под забвенья».

Город плещет
детьми и листьями,
вечным кратером
опаляем,
становясь во фронт
серебристыми
острошлемыми
тополями.

4

Нулла! Детка! Родной мой птенец!
Ты знаешь слов этих власть?
Не здесь, не на каменной простыне,
ты мне навсегда отдалась.
Не здесь — в мимолетное небо смотрясь,
других на меня променяв,
спиной опершись не на этот матрас, —
на вечные времена.
Не в эти промчавшиеся часы,
сгоревшие, как зола, —
в счастливое время большой полосы
ты руку мою взяла.
Ты помнишь тех счастливых, двоих,
застывших среди камней?
Вот так же и груди и бедра твои
навеки прильнули ко мне.
Ко мне обратясь молодым лицом,
себя мне в руки отдав,
со мною ты будешь во времени всем
на мира косматых годах.
Нулла! Детка! Родной мой птенец!
Я видишь... Я вот... Я весь...
Не так, не на коечной простыне,
не тут, не сейчас, не здесь!..

*1936—1938*

## ЗАСТАВА

Роса на травах
горит свежа.
Стоит застава
у рубежа.

Слева и справа
штыков броня.
Стоит застава,
страну храня.

Прицел хорошо налажен,
и шашки заострены.
Стоим повсюду на страже
своей молодой страны!

Тиха равнина,
белы снега.
Следит ревниво
зрачок врага.

Но как ни целься
нам на беду, —
как в стеклах «цейса»,
ты на виду.

Малейший шорох,
тишайший шаг —
в соседних селах,
как гром в ушах.

Нам на подмогу
и стар, и млад
поднять тревогу
спешат в отряд.

Петлиц зеленых
отборный ряд.
Назад, шпионы!
Враги, назад!

Зрачков мильонных
упорен взгляд.
Назад, шпионы!
Враги, назад!

Прицел хорошо налажен,
и сабли заострены.
Стоим повсюду на страже
своей молодой страны!

*1936*

## ПРИБРЕЖНЫЙ МАЙ

Три дня туман висит над морем,
холодный сумрак, мутный свет;
три дня мы бродим, мерзнем, спорим:
пробьется солнце или нет.

Три ночи и во сне нам слышен
тревожный голос маяка;
и мы, проснувшись, трудно дышим,
в сырые врыты облака.

Они клубятся и дымятся,
сбивают лоцмана с пути;
они отрезать нас стремятся,
держа от солнца взаперти.

Они грозят нам столкновеньем,
стращают призраками бед;
они отводят нас к каменьям
в холодный сумрак, в мутный свет.

Но, вдруг стремительно ломая
тумана мертвенную бронь,
жар-птица дней, жар-птица мая
сама садится на ладонь.

И ей щеглы щебечут славу,
ей эхом водопад гремит;
и человечество, как траву,
касанье крыл ее прямит.

И пятится туманов плесень,
и хмурится стена врагов
от наших дел, от наших песен,
от наших ясных берегов.

И все знамена, все колонны
глядят туда, где, взметена,
шумит об отмель Барселоны
рабочей ярости волна.

Волна такой соленой силы,
что, через мир перехлестнув,
всегда и всюду возносила
людского мужества весну.

Испания! Под голубою
небес старинных высотой
душой и мыслью мы с тобою,
с твоей великой правотой.

Пройдут года. Истлеют своры
фашистских наймитов дотла;
их выплеснут крутые горы
из волн кипящего котла.

Туман истает, отклубится,
и будут люди — сколько лет! —
глядеть последнего убийцы
веками вымытый скелет.

И станет берег тих и ласков.
На южном пляже ляжет мать
и будет внукам павших басков
об ихних дедах вспоминать.

А мы сейчас их славить будем,
сейчас туман времен прорвем,
чтоб стало ясно видно людям,
в какое время мы живем!

*1937*

## ДЕНЬ АВИАЦИИ

С запада
на край Дальневосточный
славит песнь
героев и вождей.
Слушайте:
я расскажу вам точно,
почему мы любим
этот день.
Мне не надо
мыслью извиваться,
доводы выдумывать,
хитрить,
чтобы
путь советской авиации
на четыре стороны
открыть.
Мы едины,
хоть не одинаковы. —
Я гляжу:
в пустой небес раствор
разгоняет
славный Коккинаки
на дыбы
поставленный мотор.
Мне сейчас же
хочется усесться,
вместе с ним
проделать этот путь,

вместе с ним
мое несется сердце,
поднимаясь
на такую круть.
Чтобы
выше крылья забирали,
оставляя
дымную канву —
от земли,
упорною спиралью
вкручиваясь
небу в синеву.
Почему же?
Просто ль зуд спортивный
забирает
за сердце мепя?
Только ли
возвышенной картиной
полон я,
землею семеня?!
Нет!
Но в этом
горделивом жесте,
небесам закинутом
на дно,
я со всей моей Москвою
вместе,
со страной своею
заодно.
Чем полно
упорное вожденье?
Что за груз
несет он на борту? —
Человечества
освобожденье,
молодость,
улыбку,
доброту.
В нем
не жуть военных операций:

волос не падет с голов
ничей,
он не станет
бомбами швыряться
ради личных выгод
богачей.
Но когда
от черных свастик крепа
потускнеет
порубежный свод,
выше их
приплюснутого неба
свой мотор
герой страны взовьет.
Если руки,
что от краж нечисты,
не задержат зуда
у границ,
в тыл им
миллион парашютистов
облаком громовым
опустись.
И тогда
каким суровым шквалом
налетят на них
из облаков,
возглавляя эскадрильи,
Чкалов,
Байдуков
и Беляков.
И пойдет
суровая оценка
тех,
кого не купишь за рубли:
Раскова,
Ломако,
Осипенко
боевые
двинут корабли.
И пойдут мелькать
за сотней сотня,

в ночь,
и в холод,
и в слепящий зной, —
тучи
авиации высотной,
молнии
защиты скоростной!
Все,
кому покой небес поручен,
перед кем
трепещет капитал,
все,
кого народ
рукой могучей
вывел в люди,
поднял,
воспитал.

*1937*

## ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Надевайте праздничное платье,
лучшее у женщин и мужчин.
Чтоб ни тени на лице — разгладьте
паутину липнущих морщин.

Пусть не хлещет время лица плетью,
пусть на лбах не оставляет след:
нынче — наше совершеннолетье!
Всем сегодня — восемнадцать лет!

Раздавайтесь улицы пошире!
Шибче сердце! Выше голова!
Первыми идем мы нынче в мире
закреплять великие права.

Право на работу и на отдых,
право обучать своих ребят,
право на полях и на заводах
человеком чувствовать себя.

Право на раздумье и улыбку,
право на правдивые слова,
право видеть звезды, слушать скрипку,
нелюбимого — не целовать.

Поднимайте малых над балконом,
пусть им будет сызмала видна,
движимая лучшим из законов,
сильная, веселая страна.

Та, в которой их отцы и деды
пережили пламенные дни,
блеск которой, славу и победы
пронесут в грядущее они!

*1937*

## ЗАБЫЛИ? НАПОМНИМ!

Характер у нас
упрямый.
Рука наша
тяжела.
Из нас —
и не сильный самый
с пути
сдвигает вола.
Не хвастаться,
не хвалиться
хотелось бы
этой строкой,
но гневом
может налиться
тяжелый мускул
такой.
Мы любим
весомые вещи:
железо,
бетон
и чугун.
И если
берем кого в клещи —
не вывернуться
врагу.
Тяжелую ношу
на плечи
навязываете
вы нам...

Покрыть вас, мечтаете,
нечем?
Покроем,
гоня по пятам!
Забыли,
как грозно и хмуро,
хвастливым словам
вопреки,
считала тайга
у Амура
собачьи
воротники?
Забыли,
как звонкою стужей
носы вам
белила зима?
Как звуки
охотничьих ружей
вас
вовсе лишали ума?!
Забыли?
Так мы вам
напомним!
Напомним серьезно
про то
всем весом
нашим огромным,
всей силой,
литой и крутой.
Теперь
регулярные части
готовы
за родину встать.
Свое
неподкупное счастье
есть чем
и кому защищать.
Но каждого штатского
мускул,

как ни был бы
мирен и тих,
легко перемепит
нагрузку
кайла и лопаты —
на штык!

*1938*

## КАК ЦАПЛИ КОРШУНОВ ПОБЕДИЛИ

Хоть это похоже на выдумку,
но выдумки здесь ни капли:
в Советском Союзе действительно
такие имеются цапли.

В Приморской области леса
огромны и густы;
так крепки кедры и дубы —
не тощие кусты.
Я сам там был и видел сам,
какой там зверю вод,
каких там только нет семейств,
каких там нет пород!
Там, где навис речной обрыв,
мелькает выдрин хвост;
трудолюбивые бобры
пыхтят, поднявшись в рост.
Там пробковый ветвится дуб,
и дикий виноград
тяжелый занавес спустил
над логовом тигрят.

А если вам верить не хочется,
вы смотрите, брови нахмуря,
вам все подтвердит это в точности
тигрица с верховьев Уссури.

И там, чтоб зверю без забот
жилось и без угроз,
раскинул пастбища свои
большой зверосовхоз.
Оленьи выводки паслись
на воле — без числа,
и серых цапель на дубах
колония жила.
Их многочисленных семей
был тонок глаз и слух;
они уничтожали змей
на сотни верст вокруг.
Их часовые начеку,
следят во все концы,
пока, качаясь на суку,
ждут матерей птенцы.

Там змей превеликое множество,
немало средь них ядовитых,
но цапель носы, словно ножницы,
умели к земле придавить их.

И вот однажды, в ясный день,
померкнул свод небес,
как будто серой тучи тень
заполонила лес.
По глади неба, по краю
голубизны ее,
в зловещем сомкнутом строю
летело коршунье.
Так низко коршуны неслись,
что ветер книзу бил,
что на деревьях каждый лист
дрожал от свиста крыл.
Тревожный окрик часовых —
и, описав дугу,
пять тысяч цапель поднялись
наперерез врагу.

В молчанье летели коршуны;
их когти — отточенней сабель,

глаза их недобрые скошены
на гнезда колонии цапель.

И завязался страшный бой,
поляны пух покрыл...
Под ширью неба голубой
и треск и трепет крыл.
Взмывая выше хищных птиц,
даль криком огласив,
бросались цапли камнем вниз
на коршуний массив.
Сбежались люди на лугу.
Да сделаешь тут что ж?
Стрелять? Опасно — в темноте
по цаплям попадешь.
А цапли бьются грудь о грудь
и тыл врага разят,
и удалось им повернуть
противника назад.

Об этом в газетах печатали,
об этом была телеграмма,
как цапли на коршунов падали,
как те пробивались упрямо.

Три раза яростных атак
отпрядывал напор,
три раза закипал опять
кровавый птичий спор.
И, наконец, рассеян враг,
и — цаплина взяла,
а на траве и на дубах
заклеванных тела.
И разлетелось коршунье
во все концы небес,
а цапли повернули вниз,
в колонию, к себе.

Смыв раны примочкою арники,
очистив перья от крови,
опять часовые-ударники
на страже стоят наготове.

Так вот как цаплями отбит
был натиск коршунья.
О том мы рассказали здесь
без капельки вранья.
Ну там, про арнику — чуть-чуть,
но в общем — все, как есть.
И долго коршуны теперь
не будут к цаплям лезть.
А если цапли могут так
границу отстоять,
так как же нам не защищать
советские края!
Учись, как пуля, падать вниз,
взлетать, как фейерверк,
чтоб у советских у границ
веселый день не мерк!

А если вам верить не хочется,
вы смотрите, брови нахмуря,
вам все разъяснит это в точности
тигрица с верховьев Уссури!

*1938*

## ЯСНОМУ СОКОЛУ

Холод!
Землю на части раскалывай,
на лету
слезу ледени.
Нету нашего
славного Чкалова
меж большой
боевой родни.
Ни сказать,
ни придумать тут нечего,
с утешеньем
прийти не посметь:
загляделась
на широкоплечего
темным глазом
старуха-смерть.
Сбила,
смяла
с пути высокого,
повернуть не сумевши
вспять
быстрокрылого,
зоркого сокола —
уложила с собою спать.
Только зря
она к гробу тянется:
в нашей памяти —
невредим —

все равно он ей
не достанется, —
не уступим,
не отдадим!
От дедов
ко внукам передано
будет имя его
на века:
жив народ!
И ему поведано
о бесстрашии большевика.
И опять
и вновь обнаружится —
не забвенью,
не тьме теней, —
он отдал
боевое мужество
самой памятливой стране.
Нет, не смерть,
не глухая печать ее
крышку гроба
за ним забьет, —
молодое
страны объятие
навсегда
его обоймет!

*1938*

## НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

### 1

В Европу поехать сейчас?
Спасибо!
Меня
не заманишь в нее калачом:
там горло людское
сжато до сипа
новейшей формации
палачом.
Кто он?
Перстом на него — не укажешь.
Как будто бы вызван
зловещей мечтой,
по виду он —
всех досточтимей и глаже,
по существу же —
никто и ничто.
Он чудно одет,
он в цилиндре и гетрах,
он весь —
респектабельность,
чинность
и лоск,
величественен
в обещаниях щедрых,
в двусмысленных жестах —
податлив, как воск.

Перчатки его
из тончайшей лайки,
ботинки —
лучшей работы шевро,
и только
на лбу мирового зазнайки
профессии
сумеречное тавро.
Былая Европа
веселых беспутств,
философов,
песен,
романтики ранней,
опрятных субреток,
изящных искусств —
растаяла
в детских воспоминаньях.
Она обернулась,
зверинцем рыча!..
Узнал бы
веселую Англию Диккенс?
Исчезнул сверчок,
и погасла свеча,
и Пикквик впадает
не в детство,
а в дикость!
И падает вера
в покой и уют;
гниют городов
бомбометные раны;
уже
не отдельных людей продают, —
на рынки выводятся
целые страны.
Холодный бухгалтерский,
точный расчет:
пусть длятся бомбежки,
и вопли,
и войны,
чем гуще
рабочая кровь потечет,

тем править
земли олигархам
спокойней.
Проклятые выродки
жирных семей,
весь мир обернувшие
выжженным адом!
Страна опустей,
и земля онемей, —
лишь вам бы пастись на ней
сумрачным стадом.
Весь мир обезумел...
Одна лишь страна,
где мирных трудов
и довольства избыток,
во власть сумасшествию
не отдана,
кровавому сну
разрушений и пыток.
Так как же мне
эту страну
не блюсти,
вершин ее плечи
и рек ее пряди!
Я — плоть ей от плоти
и кость от кости.
А вы от кого?
От соседнего дяди?!
Пируйте же
в черной пиратской ладье,
над связанной пленницей
правьте победу!
Но,
сэр Чемберлен
и мосье Даладье,
я в ваши владения
не поеду!
Боюсь:
ошибусь
и, уставши от дел,

усядусь случайно
на той же скамейке,
где — только что —
кто-нибудь грузный сидел
из этой
кроваво-лощеной семейки.
Боюсь:
утомлюсь
и, зайдя в ресторан,
где жадные глазки
мерцают, засалясь,
к губам поднесу
тот же самый стакан,
которого
губы убийцы касались!

**2**

Но есть на земле
могущество
величественной страны,
где люди
о завтрашней участи
тревожиться не должны,
где сердце в тоске
не мечется
с отчаянья
и забот,
откуда
все человечество
спасенья
и помощи ждет.
Партийного съезда
веления
по всей земле
прозвучат,
и воля
великого Ленина
войдет
в детей и внучат.

Бесчисленные
количества
идут
по нашим следам;
над нами
знамена колышутся —
привет
грядущим годам.
Со всем
новорожденным людищем
с далеких
и близких мест,
со всем
наступающим будущим —
на Восемнадцатый съезд!

*1939*

## ВОДНЫХ ГРАНИЦ ОПЛОТУ — ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ

Флаг советский вольно вьется
над высокою волной.
По-над бортом — краснофлотцы
нерушимою стеной.
Стали — выстроились гордо,
точно вылитые в ряд:
плечи стройны, скулы тверды,
взоры мужеством горят.
Рассыпайся, голосистый,
переливчатый баян,
черноморцы и балтийцы
и Великий океан.
    Наш флот,
    крой влет, —
    кто без спросу
    подойдет!

Свеж загар их золотистый,
повидавший много стран,
черноморцы и балтийцы
и Великий океан.
Потому им сердце радо,
потому им нет цены,
что за их спиной — громада
им доверенной страны...

Вперерез фашистской своры
взвейся, кипенью, вода:
дальнобойные линкоры
и москитные суда!
Тишь вод
залп рвет, —
наш флот
в цель бьет!

*1939*

## КРЫЛЬЯ ВРЕМЕНИ

В детстве,
в мальчишестве,
верить не смея, —
как он там держится?
и отчего? —
мы запускали
воздушного змея,
кисть обжигавшего
нам бечевой.
Дранки готовили,
клейстер варили,
свежую рвали рогожу —
на хвост.
Эти непрочные
эскадрильи
в небо тянули
наш глаз
и наш рост.
Главное ж было —
в трещотке...
Трещала
так завлекательно
в небе она,
будто клялась нам
и обещала,

что будет пустыня
заселена.
Нет,
не воздушные замки
мы строили,
не был порыв молодой
бестолков, —
низки нам были
убогие кровли
плоско надвинувшихся
потолков.
Мы забирались,
ликуя,
на крыши;
змея держать
затекала рука...
Нам же хотелось,
чтоб выше и выше
он уходил бы
за облака!
Детская радость
в глазах не потушена:
рты и зрачки
запрокинувши вверх,
снова и снова
сбираемся в Тушино —
видеть воздушный
стальной фейерверк.
Плечи с плечами
и локоть о локти,
знаем,
как держатся
и для чего
подняты,
мчат в нарастающем рокоте
воли
натянутой бечевой.
Неотразимой,
стремительной силою

неисчерпаемая
до дна,
гордая,
смелая,
ширококрылая,
небом владеющая
страна!

*1939*

## ВО ВЕСЬ РОСТ

Они не любили
повадок наших,
кривили
вельможный рот,
страшась,
что, вольное знамя поднявши,
их смелет в муку
народ.
А так,
под защитой штыков заморских,
их
буря не накренит;
дворцов их Закревских,
их замков Замойских
не сдвинется
герб и гранит.
Ворчали,
на нас оскалив клыки,
напоминая
собаку цепную,
но как
на ходу оказались легки:
посыпались
врассыпную!
Сам польский народ
не унижен ни в чем,
то — панское —
втоптано знамя,

а он показал,
что не хочет мечом
махать
наряду с панами.
Тяжелая участь —
страну уступить,
фронты истончив
до нитки...
Но если народу —
штыки иступить,
то —
не за чужие пожитки!
Не вздыбишь
народа таящихся сил
при помощи
окрика злого.
Но голос нашей страны
объявил
советское
веское слово.
На «их» Украине,
на «их» Беларуси
такие ж живут
Пятры и Маруси,
и этих людей
на серьез,
не для виду,
нигде,
никогда
не дадим мы в обиду! ..
Какая уверенность,
сила,
подъем
во всех
повстречавшихся взорах:
мы руку помощи
тем подаем,
кто кровно нам близок
и дорог.
Не верь,
трудовой польский народ,

кто сказкой
начнет забавить,
что будто
затем мы шагнули
вперед,
чтоб горя
тебе прибавить.
Твое величье
не в белом орле, —
мы знаем это
по опыту, —
оно —
в спокойном труде
на земле,
своими руками
добытой.
Мы переходим
черту границ —
не с тем,
чтобы нас боялись,
не с тем,
чтоб пред нами
падали ниц,
а чтоб —
во весь рост выпрямлялись!

*1939*

## НАД ПАСМУРНЫМ ЛОНДОНОМ

Над дымным,
пасмурным Лондоном
с небес —
стремительный росчерк;
над Лондоном,
ужасу отданном, —
пикирующий
бомбардировщик.

Розовощекие
рыжие,
уверенные джентльмены
не ждали
над этими крышами
существенной перемены.

Всю жизнь
грубя и грабастая,
весь мир загребая в руки,
не верили,
что над аббатствами
иные возможны
звуки.

От гула
в трясущихся рамах
вскакивающие
с постели

в своих полосатых
пижамах, —
вы этого ли хотели?

Конечно,
не те поплатятся,
чьи в золоте
зубы бульдожьи;
ребенка рабочего
платьице
осенний вымоет дождик.

Вон там
кровавое зарево,
у Темзы,
в дымящихся доках,
где грудь
у грузчика старого
в последних дыбится
вздохах;

Где стали,
рвущей и режущей,
есть в чью тесноту
зарыться,
где — редки бомбоубежища,
и людям —
некуда скрыться.

А леди Астор
в Америку
вывозит свои конюшни...
Коней отгружают
с берега;
людей же спасать —
не нужно!

Мешок, набитый фунтами,
взирающий
хладнокровно,

как рушатся
над фундаментами
горящие балки
и бревна.

*1940*

## ГИМН РЕМЕСЛ

Много на свете
профессий есть;
много занятий,
ремесл, трудов...
Жизнь скоротать —
не большая честь,
если она
не оставит следов.

Так постараемся ж,
чтоб росло
мастера радующее
ремесло,
жизнь облегчающее
ремесло,
мысль воплощающее
ремесло.

Вот марширует
по мостовой
наш подрастающий
мастеровой:
лица —
недавно еще
из села, —
а уж столица
лоск навела.

Пусть же умножится
их число, —
знающих разное
ремесло,
жизнь облегчающее,
мысль воплощающее
ремесло.

Форменной справою
заменены
сельские ватники
и зипуны;
из-под ресниц —
любопытства лучи:
лишь покажи только.
лишь научи!

Так постараемся ж,
чтоб росло
ма́стера знающее
ремесло,
жизнь облегчающее,
мысль воплощающее
ремесло.

Каждому
летчиком хочется быть,
гулко пропеллером
в небе трубить;
если все к высям
умчатся, паря, —
где же возьмутся
тогда слесаря?

Если вы все,
как один
удальцы,
в небе закружитесь,
высь покоря,
где же возьмутся тогда
кузнецы,

сварщики,
доменщики,
токаря?

Те, кто в шинели
одели вас,
в добрые кто
сапоги обул,
тоже хотели б
в полет хоть раз,
чтоб — под рукою
мотора гул.

Будем же делать,
их веселя,
бронемоторы
и дизеля,
чтобы им мирно
тачать и шить,
чтобы младенцев
качать и жить.

Плотники,
каменщики,
маляры, —
чтоб не пропасть нам
в снегах, в пыли, —
стены, от стужи
и от жары
нас охраняющие,
возвели.

Пусть же умножится
их число,
любящих разное
ремесло,
жизнь облегчающее
ремесло,
мысль воплощающее
ремесло.

Каждое дело,
душой любя, —
как бы оно
ни казалось мало́, —
словно дитя,
подними до себя;
глядь — и оно тебя
вверх
подняло!

Так постараемся ж,
чтоб росло
ма́стера знающее
ремесло,
жизнь облегчающее,
мысль воплощающее
умное
ремесло.

*1940*

## СТАРЫЙ И НОВЫЙ

Бродит старый год
по свету
и не может
кануть в Лету:
не найдет
дороги к ней, —
совершенно
нет огней.
Спутал он
пути и тропы,
жар и страх
его томит:
на пространстве
всей Европы
рвет потемки
динамит.
На часах
молчат кукушки,
стрелки стали —
не идут;
в звездах — бомбы,
в елках — пушки
ветви сломанные мнут.
Чтобы ночь
густую эту
привести скорей
к концу,

сдал давно б он
эстафету
новогоднему юнцу.
Да не знает,
где шныряет
этот ветер
молодой,
как его старик
ни кличет,
потрясая бородой.
А парнишку
не заманишь
в эти чертовы
потьмы:
он сияет,
он пылает,
он желает жить,
как мы!
У него —
от щек румяных
пышет
солнечный разлив.
У него —
в одном кармане
мандарин
и чернослив.
У него —
в другом кармане
тоже
много новостей
для незваных, —
хоть и жданных, —
но непрошеных
гостей.
Вот он здесь
сидит, мальчонка,
и на Лету
на реку,
где нельзя
смеяться звонко,

не спешит он
к старику.
Он желает
новогодье —
свой веселый,
лучший час —
в наших парках
и угодьях —
только —
праздновать у нас!
Но нельзя ж,
рожденник милый,
мир — бесчасьем
поражать...
Нет такой
на свете силы,
чтобы
время удержать.
С Новым годом,
с новым счастьем
на Союзный
прочный лад
пусть указывает
сроки
наш
советский
циферблат!

*1940*

## ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

Горной речонки
в камнях воркованье,
вечные кряжи
в нетающем льду...
Капельный мальчик
идет на аркане
у крошечной девочки
на поводу.
Горы,
укрытые в зелень разлато,
воздух,
процеженный солнцем,
ленив.
Белыми ангелами
козлята
скачут,
безрогие лбы наклонив.
Войлочная
широкополая шляпа,
важно торчат
газыри на груди,
но
помогает здесь мужество слабо,
он — позади,
а она — впереди.
«Ты же задушишь его,
дурная!»

Хмуро сверкнула
черным зрачком:
дескать, не вмешивайся,
не понимая! —
и
погрозила мне
кулачком.
Без украшений
и без косметик,
с детства связавшись
с его судьбой,
так и ведет она
белый бешметик —
копию взрослого —
за собой!

*1941*

## МАЙСКИЙ МАРШ

Май,
вставай
радостью
через край,
щебетом
птичьих стай!

Синий лес,
почек тугих
прорез,
мирная
голубизна небес.

Первый пыл,
новая свежесть сил,
юность,
которую никогда
никто не забыл.

Первый пух,
вербы серебряный вспых,
взглядов — двух
сосредоточенный миг...

Там, вдали,
взрывы тяжелой земли,
на море —
тонущие корабли.

Там, вдали,
молодость топчут в грязь,
там — в сердцах
радости рвется связь.

Там гремит
воздушной тревоги трель,
крыльев тень —
цель:
детская колыбель...

Здесь вокруг
землю взрывает плуг,
млеет луг,
чистый весенний дух.

Светлость вод,
ясный небесный свод, —
но — в строю
вооруженный народ.

Чтоб над ним
день золотился такой, —
мир храним
к бою готовой рукой.

По местам —
тесно шеренги
держись!..
Как чиста
наша советская жизнь!

*1941*

# Поэмы

# Гундоровский полк

## Вступление

Горам
свое сердце вручая,
считая
изломов гряды,
я вымчал
из Карачая
долиной реки Теберды.
Вставая
из пены и пара,
сквозь спорый
и радужный дождь,
пыталась
гора Хатипара
сорваться
с зеленых подошв;
ей
малого недоставало —
с Ульгеном в обнимку,
вдвоем,
но —
горя хватить до отвала
казалось
и ей невподъем!

Машина —
тропою Мышиной
выкручивала
кренделя,
и пихты
гнались за машиной,
вершины
к снегам заваля.
И вот уж —
внизу копошится,
в Кубань окунувшись
по грудь,
заштатного
Баталпашинска
зеленая нежить
и муть.
Въезжаешь,
и — странное чувство:
ни шума,
ни мелька в глазах;
на улицах тихо
и пусто
в разросшихся буйно базах.
Куда
они все подевались?
Укрылись?
Уснули, устав?..
Ни пестрых —
в лоскут —
одеялец,
ни жженых макитр
на шестах.
Навкрест
заколочены ставни...
Лишь пышным цветеньем
простерт,
как отсветы
битвы недавней,
пионов и маков
костер.

Здесь было и вправду
сраженье —
грудь с грудью,
в обнимку,
в борьбе,
и вымело
жизнь и движенье,
и враг отступил,
оробев.
Вглядись же,
подробней и зорче,
в похмелье
гульбы боевой,
во вражеских
судорог корчи,
в окопы
и в ходы его.

**Некоторые лица**

Четыреста самок
свиней супоросых
розовобедрых
визжало с тоски,
по льдистому хрусту
последних морозов
таща
переполненные соски.
Какие-то
выверенные канальи,
кровавя их нежное брюхо
об лед,
их
на берег с берега
перегоняли,
вчистую губя
матерей и приплод.
Искромсаны острою
вздыбленной льдиной —

огромной горою
раздувшихся глыб,
порода не выдержала —
и до единой
все четыреста
полегли.
А это значило —
в общем доходе
прорыв
в четыре тыщи голов.
А это значило —
в будущем годе,
где щей бы навар, —
по столовым голо́!
И восемьсот жеребят-
второгодков,
отборных, породистых, —
в белой степи
освистаны вьюгой
в лихую погодку, —
шагу
не в силах переступить.
Они запаршивели,
захирели,
им все представлялось,
как вьюга метет...
И, не дождавшись
весенней свирели,
погибло
один за другим
восемьсот.
Лишившись внезапно
такого богатства, —
хотя и густа
председателя бровь, —
колхозу —
не то что с другими тягаться, —
не встать,
не подняться,
не выбиться вновь.

С того и поехало.
Враз обнищали.
И хоть виноватых
никто не назвал, —
нужда их обжала
сухими клещами,
хозяйство
и силу
пустив на развал.
А у председателя —
плечи крутые,
а у председателя —
скулы литые.
Могуч и пригож
председатель Оня́к.
Хотя б и сейчас —
перед строй, на коня.
Но он не седлал
коня боевого,
он помнил,
что вскочишь неловко —
и сдашь;
и он
перед оком
лица краевого
старательно
зарабатывал стаж...
Кавказа Северного
станицы
не так далеко
стоят от границы:
оттуда сюда
и отсюда туда —
с ищейкой
и то не отыщешь следа.
И мало ли кто там
считался у белых?
Что было — то сплыло,
назад не вернуть!
Казацкие ж руки —
в буграх огрубелых;

а то
и цитатой не прочь козырнуть.
Не то что —
советской власти противясь,—
сполна оплативши
огрехи долгов,
он —
восемь лет уже
ярый партиец,
внимателен,
сдержан,
развит
и толков.
Его сослуживец
и правая ручка —
другого такого
пойди поищи —
был очень
хитросплетенная штучка:
Сюсюкин —
колхозный кладовщик.
Работе
осмысленный вид придавая,
он —
первый ударник!
В дырявых портах!
Но как-то
всегда его кладовая
была
в самонужный момент —
заперта.
Чинить бы как раз
подпруги и бороны,
да как разорвешься —
везде хлопочи...
И мечется парень
в разные стороны,
забыв от кладовой
оставить ключи.
Горяч и приемист
с макушки до пяток,

то трактор судобит,
то вялит зерно...
Он, правда, советовал:
в степь — жеребяток,
да кто ж его знал,
что буран завернет?!
Обидишь ли парня
за беды такие!..
Ну, молод,
горячка,
огонь в голове.
А тут,
как говорится,
стихия,
а против стихии —
не дюж человек.
И тоже, к примеру:
уход за свиньею,
ведь кто ж ее знает,
английскую дрянь,
на ком
ее нежности гибель
виною?
Ни ты ее торкни,
ни ты ее рань!
А взять бы хоть свойскую,
черную чушку, —
какой за ней нужен
особый уход?
Дика,
беспризорна,
жует хоть бы стружку,
и — смотришь:
двенадцать подхрящиков в год!
А с Англией вот —
доплясались до свиста.
Свинья — не жена,
и на ту пе молись.

(Во всем,
что касается женщин и свинства,
он был,
как водится,
националист.)
Ему поддакивало
немало —
как утки
подкрякивают селезню.
И ловкий,
и нужный,
и парень бывалый.
И что заводить
меж своими грызню!
И шестеро —
из двадцати —
в правленье,
хотя не носили погон
или свастик,
были людьми
одного поколенья,
одной шерсти,
одной масти.
А рядом
на север и юг по Кубани,
то в оспинах,
то в полыханье щеки,
такие ж кряжистые —
без колебанья —
председатели
и кладовщики.
И дальше в окружье,
колхозов на десять,
в правленьях —
повсюду —
кумы да родня.
Сиди дожидайся,
орудуй,
надейся, —
все ближе восстание
день ото дня.

У этой родни
сочти трудодни
работников:
сотня на тыщу.
Другие ж в полсилы
гребли и косили,
а к севу
и сотни не сыщешь.
Хребты свои взмыля,
те — этих кормили.
А стоит
таким подчиниться,
посмотришь — зерно
от сора черно,
но скрыта
и эта пшеница.
...Жил один казак,
жег огонь в глазах,
ничего нажитого
нету.
«Гляньте здесь и там —
ничего не сдам,
не могу
отвечать декрету!»
Детский плач и всхлип;
сам распух, как гриб;
и жена
без еды скончалась.
Уж такой бедун
был у всех в виду,
глянешь —
слезы прощиплет жалость.
Наконец и сам
отошел к отцам,
почернелый весь,
хмуролобый.
Жил и нищ и вдов,
а семьсот пудов
из-под женина
вырыли гроба.

## Пост

Высоко над границей
плывут облака
на советскую сторону
лавой.
И следят их движенья
глаза беляка,
и орел
над шевроном
двуглавый.
Он стоит на часах
невдали рубежа,
подтянув
сухопарые ляжки.
И ему бы
по облачным сходням взбежать,
поглядеть
на родные овражки.
Только ихнюю милость
сюда не зовут, —
здесь и цель
и забота другая...
И стоит он часами,
похож на сову,
на советское солнце
моргая.
Крыт и бит красной конницей
Гундоровский полк,
прополоскан
в двенадцати водах.
И двенадцать древков
помертвелый шелк
обвивает
в двенадцати взводах.
То —
виденье двенадцати
скомканных битв,
то —
осколки частей разбитых,

то —
смятенная ярость
в зрачках рябит,
не оставившая попыток,
то —
Вапнярка,
Касторная,
Фастов
и Льгов,
то —
Дубиничи,
Харьков,
Воронеж,
то —
отпетая песня
хрипит пустельгой,
под которой
надежды хоронишь.
Но надежда должна же
мелькать впереди!..
И какие-то мысли
и планы
замышляют,
мечтанья разбередив,
потускневших времен
ветераны...
Высоко над границею
солнце течет.
Калачом
загибается месяц.
Все обдумано,
взвешено,
принят в расчет
военком
и красноармеец.
Лишь взыграет
волненье военной трубы,
кровь —
вином заструится в жилах...
И пойдут за рубеж,
и восстанут гробы,

и отроют пшеницу
в могилах.
И —
не как в неудачливые разы,
не без спросу,
не вдруг,
не сразу —
превратятся
казачьи густые базы́
в продовольственные ба́зы.
Не ударят теперь они
личностью в грязь, —
гром побед у них
в лицах и в позах:
как не ждать им удач,
если прочную связь
завели они
в самых колхозах.
Все двенадцать знамен
разовьются, шурша,
боевые покрыв
единицы.
И одна за другою
казачья душа
к их отрядам
присоединится.
И уже от пожаров —
ночами светло,
и — разбитая — Красная
в яви,
и Оняк
боевое пружинит седло,
и Сюсюкин
в командном составе!

**Рейд**

Военком был брит,
не отважный вид.
Из рядов —
не выделить такого.

Но Кубань и Дон
помнят свист и звон
занесенных сабель
Примакова.
Он вошел теперь,
не погнувшись, в дверь.
Сел,
расставив в стороны колени.
Круглая, точеная башка,
словно у китайского божка,
обвела, прищурившись,
правленье.
Голос — вежлив, тих,
видно, много книг
прочитал,
ссутулившись на стуле.
Не цветиста речь.
Только — вдруг у плеч
ветерки прохладные
подули.
«Как же быть с зерном?
Если не взвернем,
если государства
не обслужим, —
значит, нашу власть
на лопатки класть?
Но боюсь —
для вас не вышло б хуже!
Знаю — между вас
есть недобрый глаз,
только зря косит он
к прежней были.
Вспомнил бы про то,
как, бывши без порток,
мы его
и то вчистую били.
А теперь у нас
весь рабочий класс
техникой снабжен
во всеоружье,

и на белый флаг
не надейся, враг, —
как щенка затопим
в грязной луже!»
Пластами слеглось
молчанье...
И, колкий,
словно игла,
гундоровцев
однополчанина
голос
из-за угла:
«Что ж ты
из сил нас ну́дишь?
Что ж ты
стрелять нас будешь?
Ну стреляйте,
стреляйте сегодня,
мы вас
завтра будем стрелять!»
Военком:
«Это кто ж там заводит
заводиловку эту ...ать?
Ты не думай мне
глаз замазать, —
я и ночью
вижу врага!»
И рука,
как в гражданской,
сама уже
без ошибки
к бедру,
за наган.
«А ну, кто скорей!
Давай — начинаем,
тебе, видно, тоже
не терпится страх!
А ну выходи,
объявляйся чинами,
словца не сдержавший,
открывшийся враг!»

Минута —
и кажется,
что сама уже
рука врага
поднимается вверх,
схватившаяся
цепко за маузер,
несущая смерти
ответный сверк.
Но нет.
Протянуты руки по швам,
и с губ
невнятные звуки...
Он чует:
не за него братва, —
конец твоим планам,
Сюсюкин!
Он видит,
что не игранье,
не в шутку,
не на испуг, —
одно только слово —
и грянет
выстрел
на всю избу.
Назад бы
втянуть слова,
губам бы
в ледышки смерзаться.
Но крики:
«Арестовать!
Арестовать мерзавца!»

### Отбой

Гундоровский полк,
сворачивай знамена!
Твой лазутчик смолк,
опознан поименно.

Твой пособник сбит
    с рассчитанных позиций —
неказистый вид
    и голос небасистый.
Не глядит востро,
    и кисти рук повисли,
на Беломорстрой
    он далеко выслан.
Оглянись назад,
    есаул да вахмистр:
не твоих ли хат
    забиты окна навкрест?
Ты в тревожный год
    мечтал, что мы заплачем,
замышлял поход
    в мозгу своем кулачьем.
Да не бывать тому,
    чтоб ты добился цели.
Не в твоем дому
    кудрявится веселье.
Нет, не угрожай
    ты нам, противник лютый.
Жарок урожай,
    сыплется валютой.
В трудовые дни
    да в грозовые ночи,
смерть похоронив,
    трактора грохочут.
На знаменах шелк
    не увидит света, —
Гундоровский полк,
    ваша песня спета!

*1933*

# Маяковский начинается

## Маяковский издали

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.

*Маяковский,*
*«Владимир Маяковский» (трагедия)*

К чему начинать
историю снова?
Не пачкай бумаги
и время не трать!
Но где же оно —
первородное слово,
которое сладко
сто раз повторять?
Теперь —
эти всеми забытые встречи,
рассвет наших взглядов
и рань голосов,
едва повернувшись,

далеко-далече
откинуло времени колесо.
Тогда еще
чудо слыло монопланом,
бульварами
конка тащилась, звеня,
и головы,
масленные конопляным,
в кружок —
окружали
повсюду меня.

Москва грохотала
тоскою булыжной,
на дутых
катили тузы по Тверской —
торговой смекалкой,
да прищурью книжной,
да рыжей премудростью
шулерской.
Зеркальными гранями
вывеска к вывеске,
подъезды,
засунутые на засов,
и нищих,
роящихся раной у Иверской, —
обрубки, и струпья,
и дыры носов.
А там,
где снега от заката зардели,
где цепью гремели
мордастые псы, —
в лоскутное небо
вперяли бордели
закрытые ставни —
как бельма слепцы.

Солидные плеши,
тугие утробы,
алмазные цепи,
блистанье крестов;

в сиянии люстры,
в мерцанье сугробы:
земной и небесный
сверкает престол.
Империя!
Ты отдавила нам плечи.
Мы скинули тяжесть
тупого ребра:
свинцовые склепы,
пудовые свечи,
лабазы
и склады
лихого добра.

Таков был пейзаж,
что совался
постыло
повсюду нам в уши,
в глаза
и в сердца.
Казалось,
что семя
ничто не растило,
что время
застыло в сугробах мерцать.

В ряды их калашные
к рылам суконным
не лез я;
к их истинам прописным
не жался;
их толстым слежалым законам
не верил...
Тогда-то
я встретился с ним.

Он шел по бульвару,
худой
и плечистый,
возникший откуда-то сразу,

извне,
высокий, как знамя,
взметенное
в чистой
июньской
несношенной голубизне.
Похожий на рослого
мастерового,
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал.
Черты были крупны,
глаза были ярки,
и темень волос
припадала к лицу,
а руки —
тяжелые, —
будто подарки
ладонями кверху
несли на весу.
Какой-то
гордящийся новой породой,
отмеченный
раньше не бывшей красой,
весь широкоглазый
и широкоротый,
как горы,
умытые на́свеж росой...

Я глянул:
откуда такие берутся?
Крутой и упругий
с затылка до пят!..
Быть может,
с Казбека
или с Эльбруса —
так
тело распластывает водопад?

Тревожный,
насмешливый
и любопытный,
весь нерастворимый
на глаз и на слух,
он враз отличался —
какой-то обидной
чертой превосходства
над всем,
что вокруг.

Казалось,
что каждая шутка
и шалость
всерьез задевала
по сердцу —
одним;
другие —
с ним спорили
и не соглашались
и все-таки
вслед семенили за ним.
Он взвил позвоночником
флейту на споры,
он полон был
самых нежданных затей,
он явно из сказки
из той был,
что в горы
уводит —
несчастных сограждан —
детей.
Сограждане ж
были на совесть добротны;
закат был —
что иконостас —
золотист.
И как им понять было,
что в оборотней
детей превращать
начинает флейтист?!

Был девятьсот пятый —
засвистан,
затоптан,
затерт
и засален по лавкам менял;
и в розницу предан,
и продан был оптом,
и заслан —
куда и Макар не гонял.

То пастырь Кронштадтский,
то Саровский инок
взмывали
в лученье крестов
и вериг...
Индусских учений
обложки — в витринах,
и тусклые блестки
огарочьих лиг.
Глаза были
плотно залеплены клейстером
наследственных прав
и жандармских облав.
Картины
елеем
выписывал Нестеров
из мироточивых
сочившихся глав.
Вы помните это:
«Медведь и отшельник»,
пчелиных роев
примиренческий гул...
И было неясно:
медведь ли мошенник,
мохнатого ль старец
на меде надул?

А рядом —
менады, наяды, дриады!
«Царь Федор Иваныч»,
шаляпинский туш,

концерты, концерны,
поставки, подряды...
Взъярилась
российская дикая глушь!
Их мануфактурных
да бакалейных
торговых домов
поднимались ряды.
И тщетно,
казалось,
прошли в поколеньях
«Былое и думы» —
следы и труды...
Теперь
Остроумовых
да Востряковых
английским проборам
открылась тропа.
А те,
что Владимирским трактом
в оковах
пылили, —
в потемки ушли,
запропав.
Бороться
с торгашьей лощеною шайкой?
Сражаться
с их Китайгородской стеной?!
И красное знамя
белесою чайкой
на сереньком занавесе
заменено.

Тогда —
вперерез,
ни минуты не мешкав,
в ответ их блудливым
пожатиям плеч,
в ответ ликвидаторским
кислым усмешкам

рванулась
сухая,
горячая речь.
Но речь эта —
в пальцах подпольных,
как порох,
чернела
на тонких рабочих листках,
взрываясь
в партийных
разросшихся спорах,
не всем
и доступна была
и близка.

Всей будничной
обыденщиной быта
от праздных,
пустых,
наблюдающих глаз
подполье партийное
было укрыто,
как шубой,
широким сочувствием масс.
И если в тиши,
опасаясь провала,
синеющие
по-весеннему дни
машинка гектографа
копировала,
не всякому
в руки давались они.

Угрюмый зрачок
чрезвычайной охраны,
морозящий оползень
шарящих рук...
И Блок
Незнакомку уводит во храмы
Нечаянной Радости
вызвенеть звук.

И вровень
душеспасительным догмам,
гастролям Кубелика,
дыму кадил
скулил в Камергерском
расстроенный Штокман,
и Сольнес-строитель
на башню всходил.

Да что там Кубелик
и что там их Ибсен?
Широкой натуре
войти только в раж:
Гогена с Матиссом —
Морозовым выписан
вагон! —
чтоб москвич
открывал вернисаж.
Пусть краски их пышут,
не глядя на зиму,
пусть всюду звенит
наш малиновый звон,
сюда,
к семихолмому
Третьему Риму,
приидут языци —
мошне на поклон!

Символики приторной
липкая патока,
о небе в алмазах
бессильная грусть.
А рядом —
озимых
заплатка к заплатке —
двужильная
да двухпольная Русь.
А рядом —
огромен,
угрюм,
неуютен

край гиблых снегов
да подсошных земель.
И вот он —
оттуда
приходит Распутин
и валит империю
на постель!

### Знакомство с Москвой

> В детстве, может,
> на самом дне,
> десять найду
> сносных дней
>
> *Маяковский, «Про это»*

Но это —
не думай —
еще не паденье;
силен еще
взмет усмирительных грив;
московских окраин
глухое гуденье,
но это —
еще накипанье, —
не взрыв.
Парами наполненная
наполовину,
чуть приподымавшая
крышку котла,
кипела
московская котловина,
Россию прожегшая
в Пятом
дотла.
Начальство
не гладило по головке,
но небо синело,
и солнце пекло;

весной
по лесам
зацветали маевки,
гармонь голосила,
звенело стекло.

Тогда-то
сюда перебралось семейство
из-под Кутаиса —
брат, сестры и мать.
Конечно, побольше достаток
имейся —
не стали б
на Пресне
подвал нанимать.
Там —
в Грузии светлой —
как барсова шкура,
пятнистые горы
желтеют вдали;
здесь —
только Трехгорная мануфактура
с трудом
поднимается от земли.
Здесь
все по-иному —
слова и объемы
разверстанных чувств,
привилегий,
постов;
здесь горы —
названием Воробьевы —
топорщат горбы
невысоких пластов.

Народ сохраняет
оценки и клички
в названиях,
данных хотя б не всерьез;
народа приметы,
народа привычки —

как оспины
низко пронесшихся гроз.
Так —
все здесь из сердца
высокое
выкинь,
здесь плоскости
и низкопоклонству
почет;
Ханжонков здесь властвует
и Неуссихин;
Неглинка-речонка
под почвой течет.
Здесь —
низкое солнце
из хмари рассветной
тускнеет в волокнах
седых паутин;
здесь —
не указует
перстом своим Те́тнульд
бездонную глубь
человечьих путин.
Здесь —
звезды
отсчитаны на копейки,
и за воду
платит по ведрам район;
а там
если волны —
без всякой опеки,
а звезды —
так падают прямо в Рион!
И голову здесь —
задерет ли затея,
такие унылые видя места, —
как к Хвамли,
прикованному Прометею
до самого солнца
рукою достать?

Впервой
над Ламаншем
взвивается Блерио...
Мы — пялимся,
хмуро скрививши губу,
и сукна и мысли
аршинами меряя, —
в полет вылетать? —
не желаем — в трубу.
Напрасно
подняться старается Уточкин...
«Пущай отличается в этом Париж!»
«Купец не пойдет
на подобные шуточки:
пускать капиталы на воздух...»
«Шалишь!»

А впрочем —
что толку в летательном зуде?
Так век просидишь
в затрапезном углу.
Отец схоронен.
Выходить надо в люди.
Заплатами
мать начищает иглу.
На сердце —
копытом ступает забота.
Померкни!
И плечи ссутуль и согни...
Но он вспоминает
забытое что-то,
какие-то выстрелы,
крики, огни...
Миндаль в Кутаисе
торжественно розов...
Едва наступает
цветенья число —
дуреют с восторга
гудки паровозов,
и кажется —
небо на землю сошло.

Под небом таким
не согнешься дугою;
здесь —
грудь разверни
и до донца дыши.
В такое —
растешь
и повадкой тугою,
и взором,
и каждым движеньем души.

Так рос он,
задира и затевала,
с башкою — на звезды,
с грозой — на дому,
и первые знанья
преподавала
сестра Джапаридзе Алеши —
ему.

Так славься ж,
глухое селенье Багдади!
Тяжелые грозди,
орешник и граб,
принесшие горсти
такой благодати,
такой открывавшие
глазу масштаб.
Так славьтесь же,
люди веселой долины,
дышавшие
мужеством и прямотой!
И вы,
неподкупные гор исполины,
лицо обдававшие
свежей водой.

Но слава еще далека...
И, сощуря
глазенки,
он солнце вбирает за нас.

Он влазит
в огромные жерла чуури
опробовать
голоса резонанс.
И гулко трубят
глинобитные недра,
и слушают уши
предгорных пород
о том,
как «...суров был король дон Педро!»
и как «...трепетал его народ!»

Ответрилось детство
в садах Имеретии...
Под сердцем
навеки, гроза, затаись!
И девятьсот пятого залпами
встретили
подростка —
гимназия
и Кутаис.
Он дружбу ведет
с громовыми ударами.
Он чем-то заполнен
и затаен.
Он помнит,
как Гурия
билась с жандармами,
как против царя
бунтовал батальон.
Он ветром восстаний
спеленут и выпоен.
Он слышал
свободы
горячую речь.
Он ищет
на Пресне
отметин и выбоин,
какие
в горах
просверлила картечь.

## Его университеты

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.

*Маяковский, «Люблю»*

Не мед с молоком —
положение вдовье.
Поймешь и научишься,
что и к чему.
«Отец нам в наследство
оставил здоровье
и образованье», —
решили в дому.
Но образованье
тоже хромало:
был вышиблен
из гимназии сын,
когда громоглавье
девятого вала
отгрянуло
в эхе кавказских вершин.

В обед не останется
лишняя корка...
Росли без особых надзоров
и нянь.
Сестру приняла на работу
Трехгорка —
узор рисовать
на дешевую ткань.
Недаром
на Пресне
искали квартирку —
здесь день
начинался не позже семи;
направо — Трехгорка,
налево — Бутырки:
удобно
для небогатой семьи!

Вторая сестра
принята на почтамте...
Он рос,
от труда
и нужды
недалек.
О горах мечтал он,
но горным мечтам тем
пределом
был низенький потолок.

В семействе,
чтоб сахар
на лишнюю кружку
хватал
да не пялилось дно у корзин,
сдавали задешево
комнатушку
шумливым кочевьям
студентов-грузин.
То были
упрямые революционеры,
едва ль
теоретики
и вожаки:
враспашку рубашки,
вразмашку манеры,
небритые скулы
запавшей щеки.
Они были раньше
по семьям знакомы
и близки
по блеску сияющих глаз,
и с ними
вплотную водился —
о ком мы
ведем
свой невыдуманный рассказ.

Он строки запомнил:
что — «*годы и годы*

*нужны, чтобы снова*
*страну раскачать».*
Что ж делать?
Семье ли умножить доходы?
В партийную ль
закопаться печать?
Он чувствовал
нетерпеливую силу,
которая надвое
душу рвала,
которая тайной
остаться просила
и нá люди
выброситься звала.
Он начал стихами:
«Закат над заводом
пылает!»
Но обыск семейство постиг,
и пристав блистательный
был этим одам
редактором первым
в Сущевской части.

Как бусы —
один к одному денечки
земной
ожерельем увешали
шар,
а ты — посиди,
охладись в одиночке,
смири свою молодость,
радостность, жар.
Тюремная музыка
ржавого лязга,
карболовый запах
запятнанных стен, —
такой была
первая робкая ласка,
идиллия юных
лирических сцен.
Он много там думал.

И мир раскрывался
ему —
не жемчужною шуткой Ватто,
не музыкой штраусовского вальса,
а тенью решетки перевитой.
Он много читал там.
И старые басни
не шли
к его наново взятой
судьбе,
и жизнь толковалась
сложней и опасней,
и дни надвигались
тесней и грубей.

Стихи и брошюры,
Некрасов и Бебель,
тюремных проверок
вседневная явь;
не хочешь попасть
в эту нежить
и небыль —
возьми себя в руки,
мозги себе вправь.
Ему присылали открытки:
Билибин —
узорные блюда,
каличий костыль;
он их перечитывал,
безулыбен,
вдвойне ненавидя
их паточный стиль;
они
здесь
вдвойне ему были похабны, —
искусства,
допущенного в тюрьме,
собольи опушки,
секиры,
охабни:
весь ложноклассический ассортимент.

А люди вокруг
торговали, служили,
и каждый из них
что-то смел и умел;
им бабушки знатные
ворожили,
им слава сияла
и город шумел.
И вот он выходит.
Но что это зà люди?
Хоть глуп, да богат,
хоть подлец, да делец.
С такими
скорее, чем брюки, засалите
всю юность
об жир их обвисших телес.
Такие —
с пеленок,
от самой купели
и вплоть до отхода
в последний ко сну —
считали, тупели,
копили, скупели,
превыше всего
почитая казну.
С такими
молчать,
обвыкать,
хороводиться?
Сносить их полтинничный
град оплеух?
Так пусть уж живот
подведет безработица,
чем блеск их зубов,
их искусств,
их наук!

Москва колотила
в булыжник копытами,
клубилась в дымках
подгородних равнин,

шумела,
гремела грошами добытыми,
поты выжимая
из мастеровни.
И вот он выходит:
большой,
длиннолапый,
обрызганный
ледниковым дождем,
под широкополой
обвиснувшей шляпой,
под вылощенным нищетою
плащом.
Вокруг никого.
Лишь тюрьма за плечами.
Фонарь к фонарю.
За душой — ни гроша...
Лишь пахнет Москва
горячо калачами,
да падает лошадь,
боками дыша.

## Проба голоса

> Окном слуховым внимательно слушая,
> ловили крыши — что брошу в уши я.
> А после
> о ночи
> и друг о друге
> трещали,
> язык ворочая — флюгер.
>
> *Маяковский, «Люблю»*

Едва углядев
это юное пугало,
учуяв, как свеж он
и как моложав,
Москва
зашипела, завыла, заухала,
листовым железом
тревогу заржав.

Она поняла —
с орлами на вышках, —
что этот
не из ее удальцов;
что дай ему только
бульварами вышагать,
и — жаром займется
Садовых кольцо.
Она разглядела,
какие химеры
роятся
в рискованном этом мозгу...
И ну принимать
чрезвычайные меры:
круженье и грохот,
азарт и разгул.
Она угадала,
что блеском вожацким
лишь дай замахнуться
перу-топору —
поедут по площади
Минин с Пожарским,
и вкось закачается
Спас на Бору.
Лишь дай
его громкосердечной замашке
дойти
до лампадного быта — жирка,
все Швивые горки
и Сивцевы вражки
пойдут вверх тормашки
в века кувыркать!

Тут —
первогильдейский
в ореховой раме
мильон подбирает
не дурой-губой,
а этот —
сговаривается с флюгерами

и дружбу ведет
с водосточной трубой.
Тут —
чуйки подрезывать
фрачным фасоном,
к Европе равняться
на сотни ладов,
а этот —
прислушивается к перезвонам
идущих до сердца страны
проводов.

Она поняла,
что такого не вымести,
не вжать, не утиснуть
в обычный объем;
что этакой ярости
и непримиримости
не взять, не купить
ни дубьем, ни рублем;
что как ни стругай его, —
гладок и вылощен,
не сядет он с краю
за жирный пирог...
И вот его
в Строгановское училище
засунула:
в сумрак,
в холсты,
за порог.

Авось! —
полагала премудрая старица, —
как там ни задирист он,
как ни высок, —
в художествах наших
он сам переварится
и красками выпустит
выдумок сок.
Бросай под шаги ему
камни и бревна,

глуши его
в звон сорока сороков,
чтоб елось не сытно,
чтоб шлялось неровно,
чтоб спалось не сладко и не глубоко.

Но нет,
не согнуть его
выдумке немощной
и будущностью
не сманить на заказ,
и если наряд
выполашивать не на что,
он рвет на рубаху
московский закат.
И желтая кофта
пылает над ночью,
топочущей тупо
толпы сюртуков;
и всюду мелькают
веселые клочья,
и голос глушит
перезвон пятаков.

(Но стоп!
Вы вперед забежали в азарте;
перо обсушите
и спрячьте в ножны;
вы повесть
на мелочь не разбазарьте,
хотя и детали
здесь — кровно важны.)

Светлее,
чем профессора
и начальники,
плетущие
серенькой выучки сеть,
ему
улыбаются маки
на чайнике.

и свежестью светится
с вывески сельдь...
Он все это яркое
взвихрил бы разом;
он уличной жизнью
и гулом влеком...
И тут он знакомится
с одноглазым,
квадратным
и яростным Бурлюком.

То смесь была
странного вкуса и сорта
из магмы
еще не остывших светил;
рожденный по виду
для бокса,
для спорта,
он
тонким искусствам
себя посвятил.
Искусственный глаз
прикрывался лорнеткой;
в сарказме изогнутый рот
напевал,
казалось, учтивое что-то;
но едкой
насмешкой
умел убивать наповал.

Они повстречались в училище...
Сказку
об них бы писать,
а не повесть плести...
И младший
заметил,
что чрез одноглазку
тот многое мог
примечать на пути...
Пошли разговоры,
иллюзии, планы,

в чем крепость искусства,
порыв и успех...
Годов забродивших кипением пьяны,
они походить не желали
на всех.

Тогда
новолуньем всходил Северянин,
опаловой дымкой
болото прикрыв...
Нет!
Не мастахином
в зубах ковырянье —
искусство, —
они порешили, —
а — взрыв!
И въявь убедившись,
что их не пригнуло,
что ими украшен
не будет мильон,
училище
их из себя изрыгнуло:
Кит Китыч
не вынес двух сразу Ион.

Однажды, —
из памяти выпала дата;
немало ночами
бродилось двоим, —
они направлялись
к знакомым куда-то,
к сочувственникам
и прозелитам своим.
«...А знаете, Додя!
Припомнилось кстати...
Один мой,
не любящий книг и чернил, —
во время отсидок в Бутырках, —
приятель
неглупый,
послушайте, как сочинил:

*...Багровый и белый...*
(Как голос раскатист!)
*...Отброшен и скомкан...*
(Как тепел и чист!)
*...А черным...*
(Скорее к нему приласкайтесь!)
*...Ладоням...*
(Скорей это время случись!)»
Какою огромною мощью
наполненный,
волна его
рябь переулков дробит!..
В нем —
горечь
недавних разгромов Японией
и грохот
гражданских неконченых битв.
Какой-то прохожий
на повороте
шарахнулся в сумрак,
подумавши: бред!
Бурлюк обернулся:
«Во-первых, вы врете!
Вы автор!
И вы — гениальный поэт!»

При входе —
к знакомым,
прямея в надменности,
взревел,
словно бронзу
впечатавши в воск:
«Мой друг,
величайший поэт современности,
Владимир Владимирович
Маяковский».
Себя на века
утвердив в эрудитах,
лорнетку, как вызов,
вкруг пальца завил.

«Теперь вы, Володичка,
не подведите —
старайтесь!
Ведь я вас уже объявил!»

С того началось...
Политехникум,
диспут,
подвески вспотевшие
люстровых призм...
Москва не смогла
залежать их и выспать —
везде на афишах в сажень:
ФУТУРИЗМ.
И вот обнаженные,
как на отрогах
осыпавшихся, —
на картинах без рам —
бегущие сгустки
людей многоногих,
открытая внутренность
будущих драм,
смещенные плоскости,
взрытые чувства,
домов покачнувшихся
свежий излом,
вся яростность спектра,
вся яркость искусства,
которому
в жизни не повезло.
Газеты орали:
«Их кисти — стамески!»
У критиков спазмы:
«Табун без удил!»
К ним вскоре
присоединился Каменский,
Крученых
в истерику зал приводил.

Что объединяло их?
Ненависть к сытым,

к напыщенной позе
душонок пустых,
к устою,
к укладу,
к отсеянным ситом
привычкам,
приличиям,
правилам их.
Он был среди них,
очумелых от молний,
шарахнувших в Пятом
с потемкинских рей;
он чем-то серьезным
их споры наполнил,
укрывшись
под желтою кофтой своей.
В них все —
и неслыханность пестрой одежи,
несдержанность жестов,
несогнутость плеч, —
за ними —
толпою поток молодежи,
а против них —
«Русское слово»
и «Речь».

Но все ж
футуризм
не пристал к нему плотно;
ему предстояла
дорога — не та;
их пестрые выкрики, песни, полотна
кружила истерика
и пустота;
искусство,
разобранное на пружинки;
железо империи
евшая ржа;
в вольерах искусства
прыжки и ужимки
«взбешенного мелкого буржуа».

Но все это
сделалось ясно-понятно
гораздо поздней
и гораздо грозней.
Тогда же
мелькали неясные пятна
во всей
этой пестрой,
веселой возне.
Москва разгадала,
Москва понимала,
что нет на таких
ни кольца,
ни гвоздя,
но люди
не чувствовали нимало,
какая меж них
замелькала звезда.
И вот,
пошушукавшись по моленным,
пошире открывши
ворота застав, —
она его вышвырнула
коленом,
афишами
по стране распластав.

### Отцы и дети

Теперь
начать о Крученых главу бы,
да страшно:
завоет журнальная знать...
Глядишь —
и читатель пойдет на убыль,
а жаль:
о Крученых надо бы знать!
Кто помнит теперь
о царевой России?

О сером уезде,
о хамстве господ?
А эти —
по ней
вчетвером колесили
и видели
самый горелый испод.
И въелась в Крученыха
злобное лихо
непомнящих роду
пьянчуг,
замарах...
Прочтите
лубочную «Дуньку Рубиху»
и «Случай с контрагентом
в номерах».
Вы скажете —
это не литература!
Без суперобложек
и суперидей.
Вглядитесь —
там прошлая века натура
ползучих,
приплюснутых,
плоских людей.
Там страшная
простонародная сказка
в угарном удушье
бревенчатых стен;
полынная жалоба
ветра-подпаска
с кудрями,
зажатыми промеж колен.
Там все:
и острожная сентиментальность,
и едкая,
серая соль языка,
который привешен,
не праздно болтаясь,
а время свидетельствовать
на века.

Наклеят:
«Он мелкобуржуазной стихии
лазейку тайком
прорывает в марксизм...»
Плохие чтецы вы,
и люди плохие,
как стиль ваш ни пышен,
и вид — ни форсист!
Вы тайно
под спудом
смакуете Джойса:
и гнил, дескать, в меру,
и остр ананас...
А то,
что в Крученых
жар-птицею жжется,
совсем не про это,
совсем не про нас.

Нет, врете!
Рубиха вас разоблачает,
со всем вашим скарбом
прогорклым в душе.
Трактир ваш дешевый
с подачею чая,
с приросшею к скважине
мочкой ушей.
Ловчите,
примеривайте,
считайте!
Ничем вас не сделать
смелей и новей —
весь круг мирозданья
сводящих к цитате —
подросших
лабазниковых сыновей.
Вы, впившиеся
в наши годы клещами,
бессмысленно вызубрившие азы,
защитного цвета
литые мещане,

сидевшие в норах
во время грозы.
Я твердо уверен:
триумф ваш недолог;
закончился круг
ваших тусклых затей;
вы — бредом припомнитесь,
точно педолог,
расти не пускавший
советских детей.

К примеру:
скажите, любезный Немилов,
вы — прочно привержены
к классике форм
и, стоя
у «Красной нови» у кормила,
решили,
что корень кормила — от «корм»?
Вы бодро тянули
к чернилам ручонку,
когда,
Либединского
выся до гор,
ворча,
Маяковскому ели печенку;
ваш пафос —
не уменьшился с тех пор?
А впрочем,
что толку —
спросить его прямо?!
Он примется
с шумом цитаты листать.
Его наделила с рождения мама
румянцем таким,
что краснее не стать!

Так вот,
у таких и отцы были слизни;
их души тревожил
лишь шелест кушей.

А Вася Каменский —
возьми да и свистни
в заросшие волосом
дебри ушей.
Ух, и поднялось же!
«Разбой! Нигилисты!
Они против наших музеев и книг!»
Один — даже —
модный профессор речистый
«явленье антихриста»
выявил в них.
А свист был — веселый,
заливистый,
резкий!
Как нос ни ворочай,
куда ни беги,
он рвался — за ставни,
за занавески,
дразня их:
«Комолые утюги!»
Тот свист был —
всему
прожитому до реди,
всему
пережеванному на зубах,
всему,
что свалялось в родные,
в соседи,
что пылью крутилось
в дорожных клубах.

Как вам рассказать
о тогдашней России?..
Отец мой
был агентом страховым.
Уездом
пузатые сивки трусили.
И дом
упирался в поля —
слуховым.

И в самое детство
забытое, раннее —
я помню —
везде окружали меня
жестянки овальные:
«Страхование —
Российского общества —
от огня».
Слова у отца непонятны:
как *полисы,*
как *дебет и кредит,*
*баланс и казна...*
И я от них бегал
и прятался по лесу,
и в козны
с мальчишками дул допоздна.
А ночью
набат ударял...
И на голых
плечах,
что сбегались,
спросонья дрожа,
пустивши приплясывать
огненный сполох,
в полнеба плечом
упирался пожар.
Я видел,
как, бревна обняв и облапив
и щеки мещанок зацеловав,
прервав стопудовье
зловещего храпа,
коробит огонь
жестяные слова.
«Российского общества»
плавилась краска,
угрюмые
рушились этажи...
И все это было
как страшная сказка,
которую хочется пережить.

Я вырос
и стал бы, пожалуй, юристом.
А может — бандитом,
а может — врачом.
Но резкого зарева
блеском огнистым
я с детства был
взбужен
и облучен.
И первые слухи
о новом искусстве
мне в сердце толкнули,
как окрик: «Горим!»
В ответ им
безличье, безлюдье, безвкусье,
ничей с ними голос
не соизмерим.
В ответ им
беззубый,
безлюбый,
столетний
профессорски старческий вышамк:
«Назад!»
В ответ им
унылой,
слюнявою сплетней
доценты с процентами вкупе
грозят.
Язычат огнями
их перья и кисти,
пестреет от красок
цыганский их стан,
а против —
желтеют опавшие листья,
что стряхивает с холста
Левитан.
И тысячи
пламенной молодежи,
которая вечно
права и нова,

за ними идут,
отбивая ладоши,
глядеть,
как горят
жестяные слова!

### Голос докатывается до Петербурга

Здесь город был.
Бессмысленный город...

*Маяковский, «Человек»*

Одесса грузила пшеницу,
Киев щерился лаврой.
Люди занимались
самым разнообразным трудом,
и никому не было дела
до этой яркой и ярой
юности,
которой был он
в будущее
ведом.

Однажды он ехал,
запутавшись в путанице
колей, магистралей,
губерний, лесов,
и в тряском вагоне
случайная спутница
укором к нему
обратила лицо:
«Маяковский!
Ведь вот вы — наедине —
и добрый и нежный,
а на людях — грубы».
В минутном молчанье
оледенев,
широкой усмешкой
раздвинулись губы:

«Хотите —
буду от мяса бешеный, —
и, как небо, меняя тона, —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина,
а облако в штанах!»

Как пишет он:
«Это было в Одессе» —
его приобщение
к облакам;
с ним жизнь начинала
чудить и кудесить,
пускать
по чужим любопытным рукам.
И как бы те ни были руки
изнежены,
и как бы ни прикасались легко, —
скорей
сквозь буран он продрался бы
снежный
по скату
соскальзывающих ледников.
Скорей бы
нагрудник
действительной грубости
и в горло —
действительный рев мясника,
чем медная мелочь
общественной скупости,
к земле заставляющая
поникать.

Кто в том виноват?
Проследите по циклам.
Ни тот и ни этот,
ни эта, ни та.
Но горло замолкло,
и сердце поникло,

и щеки
свои изменили цвета.
Схватитесь за голову!
Как это вышло?
Себя разорить,
по кускам раздаря!
Срывайтесь со стен,
равнодушные числа,
ошибкою Гринвича
и календаря!..
Враги закудахчут:
«Он это — в Советском
Союзе
талант свой утратил на треть!»
Молчите!
Не вашим умам-недовескам
такого масштаба
дела рассмотреть!
Одесский конфликт —
лишь по «Облаку» ведом.
Но что там ни думай
и как ни судачь, —
в общественных битвах
привыкший к победам,
в делах своих личных
не знал он удач.
В напоре
привыкший
к ответным ударам,
по сборищам
мерявший звонкую речь, —
душою швыряться
привык он задаром
и комнатных слов
не сумел приберечь.
В толпе
аплодирующих и орущих,
среди пароходов и доков
в чести, —
он был,
как огромный

натруженный грузчик,
не знающий,
как себя
в лодке вести.
На руль приналяжешь —
все море хоть выпень,
за весла возьмешься —
назад вороти!
Кружит и качает
всесветная кипень,
волна за кормой
и волна впереди.

Из города в город
швыряло, мотало,
на отмели чувства
валило — несло.
И вот
посреди островков
и кварталов
о невский гранит
обломало весло...
Холодом бронзовела
Летнего сада ограда,
пик над Адмиралтейством
вылоснился, остер,
яснилась панорама
теперешнего Ленинграда,
тогдашнего Петербурга
холодный,
пустой простор.
Здесь люди жили
вежливо-глухи,
по пушке выравненные,
как на парад,
банкиры,
гвардейцы,
писатели,
шлюхи —
весь государственный
аппарат.

Торцы приглушали звуки.
Кругом залегли болота.
В тумане
влажнели ноздри
охранников и собак.
И скука сводила скулы,
как вежливая зевота,
в улыбку переходящая
на вышколенных губах...
Ты после узнал его
вооруженным,
когда он
в атаку,
по мокрым торцам,
лавиной «Путиловского»
и «Гужона»
пошел
на ощеренный череп Дворца!
Тогда же
спешили — жили,
каждый своей дорогой,
от Выборгской — до Дворцовой,
от нищего — до туза.
И здесь протекало детство
в перспективе строгой
мальчика — Оставь Не Трогай
и девочки — В Ладонь Глаза.

Обычного типа
их было семейство,
картин и портьер
прописные тона;
их жизнь
повторялась
и длилась
совместно,
как в зеркале — зеркало,
в стену — стена.
Такие же тучи
клубились над нею,

такие ж обычаи,
правила,
дни.
Хоть мальчик был
сдержанней и холоднее,
но вместе
от всех отличались они —
правдивостью, что ли,
и резкостью вкуса,
упорством характера,
ясностью глаз,
уменьем на вещи
не взглядывать куцо,
не ставить
на жизненном почерке
клякс.

Бездонный провал Империи,
собор,
засосанный тиной;
на седлах
и на подпорках
качающийся закон,
и — вздыбленный
Медный Всадник...
Такую они картину
вседневно,
ежеминутно
могли наблюдать из окон...
И девочка выросла
в девушку.
По складу схожи
во многом, —
лишь глаз ее круглых
и карих
больней по коже ожог...
В четырнадцать лет
совместно
они покончили
с богом.

И мальчик
среди одноклассников
вел марксистский кружок.
Листки календарные
никли...
Из девушки выросла
женщина.
Вкус к жизни,
к ее сердцевине,
был пробкой притерт,
как духи.
Они сообща ненавидели
чинушество
и военщину.
Но что же любить прикажете?
Себя лишь самих
да стихи?
Она б
и на баррикады —
не дрогнула,
и под своды
угрюмого равелина...
Но не было баррикад.
Единственной баррикадой —
дымившие далью заводы
свинцовым грузом привычек
от них отделяла
река.

Они полюбили друг друга.
Но розно
с родною рукой
обручилась рука.
Она его
навеки —
яростно,
грозно,
а он ее —
разумно,
ясно,
слегка.

И это взаимное
разновесье,
молекул и атомов
взвихренный ход,
грозил
рассверкаться
смертельною вестью
тому,
кто под тучу их крыши
взойдет.

Что с ними случилось?
Общественный обруч
не смог уже сдерживать
бочку без дна:
семьи не устроишь,
судьбы не задобришь,
когда в ней
непрочная клепка видна.
И эти,
любившие с детства друг друга, —
век раньше —
и не было б лучше жены,
и не было б мужа чудесней, —
из круга
им сродного
выбиты
и обречены!

И город
бездонных пучин
и провалов
над ними —
как призрак —
маячил и стыл;
и мелкою зыбью
Нева целовала
его
разведенные на ночь
мосты.

## Центр и окраины

> Так вот и буду
> в Летнем саду
> пить мой утренний кофе.
>
> *Маяковский, «Человек»*

Вот каким был
этот город.
Чопорный
и надменный.
Город
холодных взглядов,
кариатид,
дворцов.
Город казенных складов,
чувств
и монеты разменной,
где гробовщик надумал
в гости созвать
мертвецов.
Город —
кусок Европы,
выхоленный,
бесстыжий,
камнем
на сердце легший,
камнем —
на грудь страны.
Город,
в котором выжить —
значило то же,
что — выжать,
где проживешь — без славы
и пропадешь — без вины.
Хмурый,
на Финском взморье,
тесанный
зорким зодчим,
полный химер и бредней,
тонких сукон и питей.

Город
прямых проспектов,
не исключавших,
впрочем,
самых косых
душонок,
самых кривых
путей.
Выверенный впервые
в точности астролябий,
выметнувший в туманы
взлет корабельных ростр;
выпяленный
двуглавый
в небе —
орел остролапый,
выметнувшийся над миром
в полный петровский рост.

Вот по таким проспектам
окаменелой славы,
оледенелой речи,
выправки неживой
шел
не согласный некто
с выспренностью державы,
будущего разведчик,
времени сторожевой...
Искрились
и сверкали
вспышки витрин
в тумане,
словно хотели вызнать,
выведать на свету, —
сколько у вас
в запасе,
сколько у вас
в кармане,
сколько у вас
пылает
радужных на счету?

Рифмы его сверкали
глубью
бездонных граней.
Мысли метались
дичью
неприрученных строк.
Будущего виденья,
четче,
чем на экране,
требовали ускорить
свой наступавший срок.

Тотчас при появленье
высчитан и расчислен,
скупщиками валюты
в чем бы душа ни жива,
в чем бы ни бились мысли —
продано будет кому-то,
пущено на подкладку,
банты и кружева.
Как бы его обставить,
как бы его обжулить,
как бы его освоить,
выкроить,
утрясти?
Пасть на него раззявить,
глаз на него сощурить,
выгоду —
тем утроить,
этим —
на нет свести?

Люди
на Петроградской
мало стихов читали,
разве что песня
льнула
к Выборгской стороне...
Времени было —
только
чтоб обточить детали

да от хозяйских штрафов
злобу
топить в вине.
Если ж
теснило душу
горечью стародавней, —
выходы находились
в слове крутом, своем.
Хором летели в небо
саратовские «страданья».
«Сами себе сложили,
сами себе споем!»

Он их расслышал сразу,
эти огромные
в малом
жанре
слова и чувства,
стиснутые взаперти.
Он облучал их глазом,
крылья ртом расправлял им,
только не знал —
от Нарвской,
с Выборгской ль подойти?
Нет! — он решил. —
По центру
сразу ударить.
В темя —
силою небывалых
слов, представлений, чувств.
Плохо искать в искусстве
прибыль
процент к проценту.
Крупному разговору
сразу за них научусь!
Эти — его не знали.
Тусклое было время,
мало в оконце свету.
Как ему цену дашь?
Трется промежду теми
в кофте желтого цвету,

дышит,
чегой-то пишет, —
барская, видно, блажь.

Некогда объясняться!
Выиграть темп — и в гущу!
...Вздыбилось.
...Флаги.
...Смеяться.
Взрывом — осколки слов!..
Вот как он очутился
между жующих
и лгущих,
чмокающих тунеядцев,
тысячных наглецов.

Литературной биржей,
биржи большой помельче,
был ресторанчик «Вена»,
пищущих лиц притон,
смесью цинизма
с желчью
вас обжигавший мгновенно,
всем
записным талантам
передававший тон.
Входит:
«Привет, арапы!»
Пальцев сжимают кончик,
хором:
«Ура! За здравье!
Шел разговор о вас.
Нам бы у вас пора бы
выудить фельетончик,
мы бы немедля
вам бы
выписали аванс».
Так на корню закупая
соду,
поташ,
галеты,

гениев и гранаты,
нежность и рыбий клей,
чавкала туша тупая,
переводя
на котлеты
все,
что имеет цену
для большинства людей.
А у него
лишь — кофты
яркость,
да ясность взгляда,
да еще —
точно из тучи
низко плывущий гром.
Черт его знает, впрочем...
Может,
и это надо?
Купим на всякий случай.
Вдруг
наживешь на нем?

Ерники и подхалимы
вьются, точно налимы,
ходят вокруг да около,
мечутся по кривой.
Хайла свои разинув,
липнут неотразимо,
жабры топорщат —
метят
выскользнуть с-под него.
Синежурнальная сволочь,
купринские опивки,
пыль
Леониду Андрееву
слизывавшие с сапогов,
перья свои нацелив,
точно дикарские пики,
колют его,
идущего
через хребты веков.

А он на них шел
молодым и глазастым,
на войско,
ведомое
силой рубля,
на них,
перекатывавшихся балластом
по трюмам державного корабля.
И все,
чем земля
его сердце украсила,
всю силу искусства
в открытом бою
он двинул
против литературного пра́сола,
в упор живописному шибаю́.

Быть может,
им путь
был неправильно начат.
Но — видите,
что он
наделал потом!
И многие ль — больше
и вровень с ним — значат,
пошедшие
более легким путем?!

### Первая трагедия

Я с сердцем ни разу до мая не дожили.
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

*Маяковский, «Облако в штанах»*

В те дни,
вопреки всем преградам и проискам,
весна
на афиши взошла и подмостки:

какие-то люди
ставили в Троицком
впервые трагедию
«В. Маяковский».
В ней не было
доли
искусства шаблонного;
в ней все —
неожиданность,
вздыбленность,
боль;
все —
против тупого покроя
Обломова:
и автор,
игравший в ней
первую роль,
и грозный
цветастый
разлет декораций,
какие
от бомбами брошенных слов,
казалось,
возьмут —
и начнут загораться,
сейчас же,
пока еще действие шло.
Филонов,
без сна их писавший
три ночи,
не думал на них
наживать капитал,
не славы искал
запыленный веночек, —
тревогой и пламенем
их пропитал.

Теперь это
стало истории хламом.
куски декораций,
афиши...

А там —
это было
единственным самым,
что ставило голову выше.
Теперь это
давняя перебранка,
с которой
и в книгу не сунусь.
А было —
периодом
Sturm'a und Drang'a,
боями
за право на юность!

Представьте:
туманный,
чиновный,
крахмальный
день,
не выходящий из ряда,
и в нем
неожиданно,
звонко,
нахально
гремящая буффонада.
Представьте себе
этот профиль столичный,
в крахмале
тугого зажима,
в испуге
на окрик насмешливо-зычный
повернутый недвижимо.
Представьте себе
эти вялые уши,
забитые ватой
привычных цитат,
глаза эти —
вексельной подписи суше,
мигающие
на густые цвета.

Часть публики аплодирует:
«Наши!»
Но бо̀льшая,
негодуя, свистит.
Зады
поднимают со стульев папаши,
волнуясь, взывают:
«Где скромность, где стыд?!»

Да, скромностью
наши
не отличались тут;
их шум
в добродетелях — подкачал:
ни скромности,
ни уваженья к начальству,
ко всякому
в корне
началу начал.
Но то, что казалось папашам
нахальством
и что трактовалось
как стиль буффонад, —
не явной ли стало
размолвкой с начальством:
истерся
Россию вязавший канат!
Уже износились
смиренья традиции,
сошла позолота,
скоробился лак,
и стало
все больше
в семействах родиться
бездельников,
неслухов,
немоляк.

Бездельем считалось
все,
что — хоть постепенно,

хоть как бы ни скромно,
и как ни мало́ —
примерного юношу
вверх по ступеням
общественной лестницы
не вело.
Бездельничество —
это все,
что непрочно,
все,
что не обвеяно
запахом щей,
не схоже с былым,
непривычно,
порочно
и — противоречит
порядку вещей.
Порядок же
явно пришел
в беспорядок!
По-разному
шли в учрежденьях часы...
И как ни сверкали
клинки на парадах —
рабочая сила
легла на весы.

И часто, в тоске,
ужасалась супруга,
и комкал газету
сердитый супруг,
что
«...мальчик
из нашего выбился круга!»,
что
«...девочка
вовсе отбилась от рук!»
Потомство
скрывалось на горизонте.
«Ведь были ж послушны
и мягки, как шелк!»

«А нынче —
попробуйте урезоньте!»
«А ваш-то
небось в футуристы пошел!»

Вот так это все
и случалось и было:
не то чтоб
начальственный окрик
ослаб,
но — детство
мамаше с папашей грубило
на весь
беспредельный российский масштаб.
А вместе с родительским —
царский и божий
клонился,
в цене упадая,
престиж,
и стала страна
на себя не похожей,
все злей и угрюмей
в затылке скрести.

Конечно,
не спор о семейственном благе
массовкой
топорщился
у леска,
но —
массовой перебежкою в лагерь
редели
былого уклада войска.
Конечно,
не в этом была революция,
героика будней,
упорство крота,
но все беспризорнее
головы русые
мелькали
украдкою за ворота.

Я знал эту юность,
искавшую выход
под тусклой опекою
городовых,
не ждавшую
теплых местечек и выгод,
а судеб —
торжественных и передовых.
Казалось —
все скоро изменится...
Ждали
каких-то неясных предвестий,
толчков.
Старались заглядывать в завтра.
Но дали
хмурели
в обрывках газетных клочков.
Казалось —
все скоро исполнится...
Слишком
была эта явь
и темна и тесна.
Ловили
отгулы грозы
по наслышкам,
шептались,
что скоро наступит весна.

И вдруг —
в этом скомканном,
съёженном мире,
где день не забрезжил
и сумрак не сгас, —
во всей своей молодости
и шири
пронесся призывом
грохочущий бас:
«Ищите жирных
в домах-скорлупах
и в бубен брюха
веселье бейте!

Схватите за ноги
глухих и глупых
и дуйте в уши им,
как в ноздри флейте».

Вот тут-то
и поднялась потасовка:
«Забрать их в участок!
Свернуть их в дугу!»
А голос взвивался
высоко-высоко:
«О-го-го» могу!..»

## «Впереди поэтовых арб»

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотри́те —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

*Маяковский, «Ко всему»*

Вот он возвращается
из Петрограда —
красивый,
двадцатитрехлетний,
большой...
Но есть в нем какая-то горечь,
утрата,
какое-то облако над душой.
Сказали:
к друзьям он заявится
в среду.
Вошел.
Маяковского —
не узнать.

Куда подевались —
их нету и следу —
его непосредственность
и новизна.
Уж он не похож
на фабричного парня:
белье накрахмалил
и волос подстриг.
Он стал прирученней,
солидней,
шикарней —
по моде
последний со Сретенки крик.
(На Сретенке были
дешевые лавки
готовой одежи:
надень и носи.
Что длинно —
то здесь же
возьмут на булавки;
что коротко —
вытянут
по оси.)
Такого вот —
можно поставить к барьеру:
цилиндр,
и визитка,
и толстая трость.
Весь вид —
начинающий делать карьеру
наездник из цирка
и праздничный гость.

Они ему крылья
напрочь обкорнали,
сигарой зажали
смеющийся рот,
чтоб стал он картинкой
в их модном журнале
не очень опасных
построчных острот.

Они его в шик облачили
грошовый,
чтоб смех,
убивающий наповал,
чтоб голос его
разменять
на дешевый
каданс
их прислужников-запевал.

На нем же любое платье
выглядело элегантным;
надетым не для фасонов
и великосветских врак...
Он был
какого-то нового племени
делегатом,
носившим
так же свободно,
как желтую кофту,
фрак.
И в блеске
лоснящегося цилиндра
отсвечивал холод,
лицо озарив;
так —
в порохе блещущая
селитра
напоминает
про грохот,
про взрыв.

И — хоть он печатался
в «Сатириконе»,
хоть впутался в ленты
ермольевских фильм, —
весь мир его помыслов
был далеко не тем,
чем казался
для нас,
простофиль.

Он законспирировал
мысли и темы;
расширив глаза,
он высматривал год —
тот год,
где поймем и почувствуем
все мы,
что мир разделился
на слуг и господ.
Он больше не шел
против ихних обрядов;
он блуз полосатых
уже не носил.
И только одно
не укрыл он, упрятав:
сердечного грохота
в тысячу сил.

И сразу
все темы мельчали...
Одна —
до дрожи стены.
И сразу
друзья замолчали —
так были потрясены.
И после,
взмывая из мрака,
тянулись к нему голоса,
и пестрая вязь
Пастернака,
и хлебниковская роса;
и нервный, точно котенок
(к плечу завернулась пола),
отряхивал лапки Крученых;
Каменский пожаром пылал;
и Шкловского яростная улыбка, —
восторгом и болью
искривленный рот,
которому
вся литература — ошибка,
и все переделать бы — наоборот!

Комедия
превращалась в «мистерию»:
он зря ее думал
развенчивать в «буфф»;
все жестче
потерю ему за потерею
приписывал к жизни
всесветный главбух.
Все чаще и чаще
впадал он в заботу,
судьбы обминая
тугой произвол;
все гуще, как в лямки,
влегал он в работу
и книгу надписывал подписью:
*Вол.*
Огромным
упорным Самсоном остриженным
до мускульных судорог
вздувшихся плеч, —
он речь
от дворцов поворачивал
к хижинам,
других за собой
помышляя увлечь.

И это
и все,
что в стихах его лучшего,
толпа равнодушных
и сонных зевак
не видела
из-за лорнета бурлючьего,
из-за скопившихся в сплетнях
клоак.
Но были в России
хорошие люди:
действительно —
соль ее,
цвет ее,
вкус.

Их путь, как обычно,
был скромен и труден.
И дом небогат,
и достаток негуст.
Я знаю отлично:
не ими одними
спасен был
тогдашней России содом.
Но именно эти
мне стали родными,
с их вкусом,
с их острым событий судом.
Их пятеро было,
бесстрашных головок,
посмевших свой взгляд
и сужденья иметь;
отвергнувших путь
ханжества и уловок,
сумевших
меж волков
по-волчьи не петь.

Сюда сходились все пути
поэтов
века нашего;
меж них,
блистательных пяти,
свой луг
рифмач выкашивал.
Как пахнут
этих трав цветы!
Как молодо
и зелено!
Как будто бы с судьбой
на «ты»
им было стать повелено.
Здесь Хлебников жил,
здесь бывал Пастернак...
Здесь —
свежесть
в дому служила.

И Маяковского
пятерня
с их легкой рукой дружила.
Взмывало солнце петухом
в черемуховых росах.
Стояло время пастухом,
опершимся о посох.
Здесь начинали жить
стихом
меж них —
тяжелокосых.
Но мне одному лишь
выпало счастье
всю жизнь с ними видеться
и общаться.
Он,
заходя к нам,
угрюм и рассеян,
добрел
во всю своих глаз ширину,
басил про себя:
«Счастливый Асеев —
сыскал себе
этакую жену!»

Я больше теперь
никуда не хочу выходить
из дому:
пускай
все люстры в лампах
горят зажжены.
Чего мне искать
и глазами мелькать по-пустому,
когда — ничего на свете
нет
нежнее моей жены.
Я мало писал про нее:
про плечи ее молодые;
про то,
как она справедлива,
доверчива и храбра;

про взоры ее голубые,
про волосы золотые,
про руки ее,
что сделали в жизни мне
столько добра.
Про то,
как она страдает,
не подавая вида;
про то,
как сердечно весел
ее ребяческий смех;
про то,
что ее веселье,
как и ее обида,
душевней и человечней
из встреченных мною всех.
Про то,
как на помощь она
приходит быстрее света,
сама никогда не требуя
помощи у других;
про то,
как она служила
опорою для поэта,
сама для себя не делая
ни из кого слуги.
И каждое
свежего воздуха к коже
касанье,
и каждая
ясного утра
просторная тишина,
и каждая
светлая строчка
обязана ей,
Оксане, —
которая
из воспетых
единственная
жена!

## Четырнадцатый год

> «Что задумался, отец?
> Али больше не боец?
> Дай, затянем полковую,
> А затем — на боковую!»
>
> *Хлебников*

Война разразилась
внезапно,
как ливень;
свинцовой волной
подступила ко рту...
Был посвист снарядов и пуль
заунывен,
как взвывы
тревожной лебедки в порту.
Еще не успели
из сумрака сонного
ко лбу донести —
окрестить —
кулаки,
как гибли уже
под командой Самсонова
рязанцы,
владимирцы,
туляки.
Мы крови хлебнули,
почувствовав вкус ее
на мирных,
доверчивых,
добрых губах.
Мы сумрачно вторглись
в Восточную Пруссию
зеленой волной
пропотелых рубах.
И хоть мы не знали,
в чем фокус,
в чем штука,
какая нам выгода
и барыш, —

но мы задержали
движенье фон Клука,
зашедшего правым плечом —
на Париж!
И хоть нами не было
знамо и слыхано
про рейнскую сталь,
«цеппелины»
и газ,
но мы опрокинули
планы фон Шлиффена, —
как мы о нем, —
знавшего мало о нас.
Мы видели скупо
за дымкою сизой,
подставив тела
под ревущую медь,
но —
снятые с фронта
двенадцать дивизий
позволили
Франции уцелеть.

Из всех обнародованных
материалов
тех сумрачных
бестолковых годин —
известно,
как много Россия теряла.
И все ж
мне припомнился
новый один.
Один
из бесчисленных эпизодов,
который
невидимой силой идей
приводит в движение
массы народов,
владеющих судьбами
царств и людей.
Министры — казну обирали.

Шакальи
фигуры их
рвали у трупов куски.
А парни с крестами —
шагали, шагали,
разбитые пополняя полки...
Я ехал в вагоне,
забритый и забранный
в народную повесть,
в большую беду.
Я видел,
как учащенными жабрами
держава дышала,
как рыба на льду.
Вагон третьеклассный.
В нем — чуйки, тулупы,
тенями подрагивающими
под бросок,
огарок оплывший
и въедливый, глупый,
нахально надсаживающийся голосок.
Заученных слов
не удержишь потока:
«За матушку Русь!
За крушенье врага!»
А сверху глядела
папаха,
винтовка
и туго бинтованная
нога.
Оратор
захлебывался, подбоченясь,
про крест над Софией,
про русский народ.
Но хмуро и скучно
глядел ополченец
на пьющий и врущий
без удержу рот.
Оратор — ярился:
«За серых героев!
Наш дух православный —

неутомим!
Мы дружно сплотимся,
усилья утроив,
и диких тевтонов
вконец разгромим!»
Когда ж
до «жидов»
и до «социалистов»
добрался
казенных мастей
пиджачок, —
не то обнаружился
просто в нем пристав,
не то это
поезд сделал толчок,
но раненый ясно,
отчетливо,
строго,
с какой-то
брезгливостью ледяной
отрезал:
«Мы не идиоты!» —
и, ногу
поддерживая,
повернулся спиной.
«Мы не идиоты!» —
вот в чем было дело
у всех этих раненых
без числа;
вот что
и на стеклах вагонных нальдело
и на сердце
вьюга в полях нанесла.
На скошенных лезвиях
маршевой роты
мелькало,
неуловимо, как ртуть,
холодное это:
«Мы не идиоты!» —
и штык угрожало
назад повернуть.

И, правда,
кому б это стало по нраву, —
пока наживалась
всесветная знать, —
на Саву, Мораву
и Русскую-Раву
своими скелетами
путь устилать?!

Вагон тот —
давно укатился в былое,
окопы
запаханы в ровную гладь,
но память
не меркнет
об этом герое,
сумевшем
в три слова
всю правду собрать.
Три слова —
плевком по назойливой роже!
Три слова —
где зоркая прищурь видна!
Три слова —
морозным ознобом по коже,
презрение
выцедившие до дна!

И в это же время, —
две капли таковский, —
с правдивостью
той же
сродненный вдвойне,
бросал свои реплики
Маяковский
Кащеихе стальнозубой —
Войне.
Он так же мостил
всероссийскую тину
булыжником слов —
не цветочной пыльцой;

ханже и лгуну
поворачивал спину,
в пощечины
с маху хлеща подлецов.
И понял я
в черных бризантных вихрях,
что в этой
тревожной браваде юнца
растет
всенародный
российский выкрик,
еще не додуманный
до конца.
Я понял —
не призрак поэта модный,
не вешалка
для чувствительных дев, —
что это великий,
реальный,
народный,
пропитанный
смехом и горечью
гнев.
Я понял,
что, сердце сверяя по тыщам,
шинель рядового
сносив до рядна,
мы новую родину
в будущем
ищем,
которая
всем матерински
родна.

Спросите теперь
у любого парнишки:
«Мила тебе родина?
Дорог Союз?» —
И грозно сверкнут
пограничные вышки,

в бинокль озирая
границу свою.
Ту, за которую
драться не стыдно,
которой
понятны нам цели
и путь,
с которой
и жить
и умереть —
не обидно
ничуть!

## Невский перед Октябрем

Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

*Маяковский, «Про это»*

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

*Маяковский*

Земля
тех дней
никогда
не забудет,
тех массовой силою
кованных дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
звенит над ней!

Еще петушится
тщедушная прядка
на взмыленном
узеньком
керенском лбу;

но чаще
защитники правопорядка
с позором
проваливаются в толпу.
Уже пригляделись
к ораторам сытеньким,
выныривавшим
и исчезавшим во мглу,
на быстрых,
стихийно вскипающих
митингах,
везде —
то на том,
то на этом
углу.
Волненьем
уже относило в сторонку
пустых болтунов
и слюнявых растяп.
На Невском
вил за воронкой воронку
в матросских бушлатах
темневший Октябрь.

Ветер треплет
обрывки реплик,
полы и бороды
носит по городу.
Вот бас, умудренно рыкая,
прозреть призывает слепцов:
«Погибнет Россия!»
«Какая?
Помещиков да купцов?!»
Насупились бороды строгие.
В упор. На каждом шагу.
«Но это же — демагогия...
Я так рассуждать не могу!»
Вот парень
в промасленной кепке,
изношен пиджак
до прорех...

Слова его
крупны и крепки —
отборный
каленый орех:
«Они на панелях-то смелы,
одетые в сукна-шелки...»
«Которые
за Дарданеллы —
построились сами б
в полки!»
«Пошли б в наступление
сами,
чем нас
выставлять норовить...»
«С такими-то корпусами —
да кайзера
не раздавить?»

Вот дамочка,
выкатив бельма,
трезвонит горячую речь, —
что
«тайным агентам Вильгельма
себя не позволит увлечь»,
что
«всюду, во всем недостатки»,
что
«темный народ бестолков»,
что
«нужно кончать беспорядки
насильников-большевиков».
Аж зубы от злобы согнула —
так
жирная жизнь дорога!
Как вдруг
через плечи
шагнула
в огромном ботинке нога.
«Она у меня кошелек стащила!
Вчера, на Обводном,
вот так же врала.

Вот эта же самая
чертова сила
засунула руку в карман
и драла!»
Пунцовыми пятнами — дама,
у барыни рот окосел...
Но этот, Высокий,
упрямо
на пылкую даму насел:
«Она у меня кошелек
с получкой!..
Вот эта вот самая,
позавчера...
Да вы, мадам,
не машите ручкой,
невинность разыгрывать —
песня стара».
Смех, гомон,
свист, шум, —
лед сломан
злых дум.
«Вы, гражданка,
нам мозгов не туманьте.
Ишь бровки распялила
до облаков!»
Все руки
ощущали, как по команде,
карманы штанин
и борты пиджаков.
«Айда, Васюк!
Да пальто поплотнее,
видать, мастерица
насчет кошельков».
«Постой!
Да чего хороводиться с нею.
А треплется!
Тоже, про большевиков!»
«Позвольте, однако,
побойтесь же бога!
Я вижу впервые вас.
Есть же предел!..»

«Да что там с такой
разговаривать много!»
И — митинг таял, дробился, редел...
«Позвольте!
Ну что же это за диво?
Я вас не встречала
во веки веков!»
Высокий над ней
наклонился учтиво:
«Вот так же, мадам,
как и большевиков!
И как ваша речь
горяча ни была,
и как ваши чувства
ни жарки, —
вернувшись домой,
не срывайте зла,
прошу вас,
на вашей кухарке!..»

Земля
тех дней
никогда
не забудет,
тех кованных
массовой силою дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
гремит над ней!

## Хлебников

Он говорил:
«Я бедный воин, я одинок...»
*Хлебников*

Вы Хлебникова видели
лишь на гравюре.
Вы ищите слов в нем
и чувств посвежей.

А я гулял с ним
по этой буре —
из войн, революций,
стихов и чижей.
Он был высок,
правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день.
Он был действительно
бедный воин —
со всем, что рождало
бездумье и лень.
Глаза его —
осени светлой озера —
беседу с лесною вели тишиной,
без слов
холодя пошляка и фразера
суровой прозрачностью ледяной.
А рот —
на шиповнике спелая ягода —
был так неподкупно
упорен и мал,
что каждому звуку
верилось загодя,
какой бы он шелест
ни поднимал.
И лоб его,
точно в туманы повитый,
внезапно светлел,
как бы от луча,
и сердце тянулось к нему,
по виду
его из тысячей отлича.
Словно в кристалл времена разумея,
он со своих
недоступных высот
ведал —
за тысячу
до Птолемея
и после Павлова
на пятьсот.

Он тек через пальцы
невыгод и бедствий,
затоптанный в пыль
сапогами дельцов.
«Так на холсте
каких-то соответствий
вне протяжения
жило Лицо».
Он жил —
не ища
ни удобства, ни денег,
жевал всухомятку,
писал на мостах,
граненого слова
великий затейник,
в житейских расчетах
профан и простак.
Таким же, должно быть,
был и Саади,
таким же Гафиз
и Омар Хайям, —
как дымные облаки
на закате —
пронизаны золотом
по краям.
Понять его
медленной мыслью
не траться:
сердечный прыжок
до него разгони!..
Он спал
на стихами набитом матрасе, —
сухою листвою
шуршали они.
Он складывал их в узелок
и — на поезд!
Внезапный входил,
сапоги пропыля:
и люди добрели,
и кланялись в пояс
ему украинские тополя.

Он прошумел,
как народа сказанье,
полупризнан
и полуодет, —
этот,
пришедший к нам
из Казани,
аудиторий зеленых студент.
И, словно листья
в июльском зное,
пока их бури не оголят,
встретились,
чокнулись
эти двое —
сила о силу,
талант о талант.

Как два посла
больших держав,
они сходились
церемонно.
Что тот таит
в себе, сдержав?
Какие за другим знамена?
«Посол садов, озер, полей,
не слишком ли
дремотно знамя?»
«А ты?
Неужто веселей
твой город
с мертвыми камнями?»
«Но в городе
люди живут,
а не вещи!
Что толку описывать
клюв лебедей?!»
«Но лебеди плещут,
а рощи трепещут...
Не вещи ли делает
разум людей?
Завод огромен и высок.

Но он —
клеймом оттиснут
в душах.
Не мягше ли
морской песок,
чем горы
ситцевых подушек?»
«Не тверже ли
сухой смешок,
дающий пищу
жерлам пушек?»
«Да,
миром владеет
бездушный Кащей...
Давайте устроим
восстанье вещей!
Ведь: слово «весть»
и слово «вещь»
близки и родственны корнями, —
они одни — в веках —
и есть
людского племени
орнамент!
Смотрите же,
не забудьте обещанья:
отныне —
об одних больших вещах
вещанье».

Такой разговор,
может, в жизни и не был;
лишь взглядов обмен
да сердец перебой.
Но старую землю
под новое небо
они поклялись
перекрыть над собой.
Маяковский любил
Велимира, как правду,
ни пред кем
не складывающуюся пополам.

Он ему доверял,
словно старшему брату,
уводившему за руку
вдаль, по полям.
Он вспоминал о нем,
беспокоился,
когда Хлебников
пропадал по годам:
«Где же Витя?
Не пропал бы под поездом!
Оборвался, наверное,
оголодал!»

А Хлебников шел по России
неузнанный,
костюм себе выкроив
из мешков,
сам —
поезд
с точеными рифмами-грузами
по стрелкам
сочувствий,
толчков
и смешков.
Он до пустыни Ирана
донашивал
чистый и радостный
звучности груз,
и люди,
не знавшие говора нашего,
его величали
Дервиш-урус.
Он шел,
как будто земли не касаясь,
не думая,
в чем приготовить обед,
ни стужи,
ни голода не опасаясь,
сквозь чащу
людских неурядиц и бед.

Бывало, его облекут,
как младенца,
в добротную шубу,
в калоши,
и вот
неделя пройдет и —
куда это денется:
опять — Достоевского «Идиот»!
Устроят на место,
на службу пайковую:
ну, кажется, есть
и доход и почет.
И вдруг
замечаешь фигуру знакомую:
идет,
и капель ему щеки сечет.
Идет и теребит
от пуговиц ниточки;
и взгляда не встретишь
мудрей и ясней...
Возьмешь остановишь:
«Куда же вы, Витечка?»
«Туда, —
отмахнется, —
навстречу весне!»

Попробуйте вот,
приручите, приштопайте,
поставьте на место
бродячую тень:
он чуял
в своем безошибочном опыте
ту свежесть,
что в ноздри вбирает
олень.
Он ненавидел
фальшь и ложь,
искусственных чувств
оболочку,
ему, бывало, —
вынь да положь

на стол
хрустальную строчку.
Он был Маяковского
лучший учитель
и школьную дверь запахнул
навсегда...
А вы — в эту дверь
напирайте,
стучите,
чтоб не потерять
дорогого следа!

## Осиное гнездо

...Желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!

*Маяковский, «Город»*

К этому времени
сходится всё —
все нити
и все узлы.
Опять обозначился
жирный кусок
и вин моревой разлив.
У множества
сердце было открыто
и только рубахой защищено.
А мелочь
теснилась опять у корыта
богатств, привилегий,
наживы, чинов.
Уже прогремел монолог
«О дряни»...
На месяц
поставив себя за станки,

в партийные
начали метить
дворяне
какие-то маменькины сынки.
По книжке рабочей
отметив зарплату
и личико постно
скрививши свое, —
они добывали
секретно,
по блату,
особо ответственный.
жирный паек.
Они отъедались,
тучнели,
лоснились;
кто косо смотрел на них —
брали в тиски;
и им по ночам
в сновидениях снились
еще более лакомые
куски.
Они торопились,
тревожась попасться;
они заполняли
собой этажи;
они накопляли
для боя
запасы
валюты и наглости,
жира и лжи.

У партии
было заботы —
сверх меры,
проблем неотложных —
невпроворот!..
Метались
тревожно милиционеры
за валютчиками
у Ильинских ворот.

А те,
притаившись
за шторками в доме,
глядели,
когда эти беды минут;
их папа,
нахохлясь,
сидел в Концесскоме
и ждал для сигнала
удобных минут.
От них,
ограниченных,
самовлюбленных,
мечтавших фортуну
за хвост повернуть, —
вся в мелких словечках,
ужимках, уклонах,
ползла непролазная
слякоть и муть.

Москва
была занесена снегами
дискуссий, споров,
сделок и торгов;
Москва
была заслежена шагами
куда-то торопившихся
врагов.
Шаги петляли,
путались,
ветвились,
завертывали за угол
в тупик,
задерживались у каких-то
крылец,
и вновь мелькал
поднятый воротник.
Тогда-то
и возник в литературе
с цитатою луженой
на губах,

с кошачьим сердцем,
но в телячьей шкуре,
литературный гангстер
Авербах [1].
Он лысину
завел себе с подростков;
он так усердно тер ее рукой,
чтоб всем внушить,
что мир —
пустой и плоский,
что молодости —
нету никакой.
Он черта соблазнил,
в себя уверя б:
в значительности
своего мирка.
И вскоре
этот оголенный череп
над всей литературой
засверкал.
Он шайку подобрал себе
умело
из тех,
которым нечего терять;
он ход им дал,
дал слово им
и дело;
он лысину учил их потирать.
Одних — задабривая,
а других — пугая,
он все искусство взял
под свой надзор;
и РАПП, и АХР,
и несказаль другая
полезли
изо всех щелей и нор.

---

[1] Несомненно, эта характеристика Авербаха была вызвана крайней остротой литературной борьбы того времени. Следует иметь в виду, что Л. Л. Авербах в 1961 году посмертно полностью реабилитирован. *(Прим. редакции.)*

Расчет был прост:
на случай поворота.
когда их штаб
страну в дугу согнет, —
в искусстве
их муштрованная рота
направо иль налево отшагнет.

Но как же с Маяковским?
Эту птицу
не обойти
ни прямиком,
ни вкось:
всю жадность
ненасытных аппетитцев
испортит,
ставши в горле,
эта кость!
И вот к нему
с приветом и поклоном
как будто бы
от партии самой:
«Идите к ним,
к бесчисленным мильонам,
всей дружной
пролетарскою семьей...»
Он чуял,
что и дружбой здесь не пахло
и
что-то непонятное
росло,
что жареным от МАППа
и от АХРа
на тысячу километров несло.

Тогда, увидев,
что за них не тянет,
они решили,
не скрывая злость,
так одурманить или оболванить,
чтоб свету увидать не довелось!

Они читали лекции
скрипуче,
темнили ясность
ленинских идей;
они словцом презрительным
«попутчик»
клеймили
всех не вхожих к ним людей.
Формальным комсомольством
щеголяя,
ханжи, лжецы,
наушники, плуты, —
они мертвили разум,
оголяя
от всей его сердечной
теплоты.

А он не поддавался —
он смеялся;
он под ноги
не стлался им ковром;
он — с партией —
погибнуть не боялся;
он сам
каленым метил их
тавром —
прозаседавшихся
чиновных
бюрократов
и прочих трехнедельных
удальцов;
он все на свет вытаскивал,
что, спрятав,
они наследовали
от отцов;
он горлом
продирался сквозь препоны,
о стены
искры высекал виском!..
И я теперь
по-новому припомнил,

как голову носил он
высоко.

Однажды
мы шлялись с ним по Петровке;
он был сумрачен
и молчалив;
часто —
обдумывая строки —
рядом шагал он,
себя отдалив.
«Что вы думаете,
Коляда,
если
ямбом прикажут писать?»
«Я?
Что в мыслях у вас —
беспорядок:
выдумываете разные
чудеса!»
«Ну все-таки,
есть у вас воображенье?
Вдруг выйдет декрет
относительно нас!
Представьте
такое себе положенье:
ямб — скажут —
больше доступен для масс».
«Ну, я не знаю...
Не представляю...
В строчках
я, кажется, редко солгу...
Если всерьез,
дурака не валяя...
Просто, мне думается,
не смогу».
Он замолчал,
зашагал,
на минуту
тенью мечась
по витринным лампам, —

и как решенье:
«Ну, а я
*буду*
писать ямбом!»

## Разговор с неизвестным другом

> В шалящую полночью площадь,
> В сплошавшую белую бездну
> Незримому ими — «Извозчик!»
> Низринут с подъезда. С подъезда...
>
> *Пастернак, «Раскованный голос»*

Теперь разглядите,
кого опишу я
из тех —
кто имеет бесспорное право
на выход
в трагедию эту большую
без всяческих объяснений
и справок.
Нас всех воспитали и образовали
по образу своему и подобью;
на собственный лад
именами назвали,
с младенчества приучая
к надгробью.
Но мы же метались,
мы не позволяли,
чтоб всех нас
в нули округляли по смете:
кистями,
мелодиями рояля,
стихами —
дрались
против пыли и смерти.
Мы, гневом захлебываясь,
пьянели,
нам море былого
было по колени,

и мы выходили
пылать на панели
глазами блистающего
поколенья.
Нет,
мы не давались
запрячь нас в упряжку!
Ведь то и входило
нам жизни в задачу,
чтоб
не превратиться
за денежку-бляшку
в чужого нам промысла
тощую клячу.

В четыре копыта
лошажья походка;
на лошади двигаться —
предкам пристало.
А если
вокруг задувает
погодка?
А если
дорогу
пургой обсвистало?
В четыре стопы
не осилишь затора,
уж как бы уютно вы
в сани ни сели...
И только
высокая сила мотора
полетом слепым
нас доводит до цели.
И как бы наш критик
ни дулся,
озлоблен,
какие бы
нам ни предсказывал
дали, —
ему не достать нас
кривою оглоблей,

не видеть,
как в тучах мы
запропадали.
О нет,
завожу не о форме
я споры;
но —
только взлечу я
над ширью земною, —
заборы, заборы,
замки и затворы
преградой мелькают
внизу подо мною.

Так что мне
в твоей философии тихой?
Таким ли —
теней подзаборных
пугаться?
Ведь ты же умеешь
взрывать это лихо,
в четыре мотора
впрягая Пегаса.
А я не с тобою
сижу в этот вечер,
шучу, и грущу, и смеюсь
не с тобою.
И в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие
сердцу страшны перебои!
Неназванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки?
Но это ж и есть
наша гордость и сила:

чтоб — с места сорвав,
из домашнего круга,
нас силой искусства
переносило
к полярным разводьям
зимовщика-друга.

Ты помнишь тот дом,
те метельные рощи,
которые —
только начни размораживать —
проснутся
от жаркого крика:
«Извозчик!» —
из вьюги времен,
засыпающей заживо.
Мороз нам щипал
покрасневшие уши,
как будто хотел нас
из сумрака выловить,
а ты выбегал,
воротник отвернувши,
от стужи,
от смерти спасать
свою милую.
Ведь уши горели
от этого клича,
от этого холода времени
резкого!
Ведь клич этот,
своды годов увелича,
по строчкам твоим
продолжает свирепствовать!

Так ближе!
Не в буре дешевых оваций
мы голос натруженный
сдвоим и сгрудим,
чтоб людям
не ссориться,
не расставаться,

чтоб легче дышалось
и думалось людям.
Ведь этим же
и определялась задача,
чтоб все,
что мелькало
в нас самого лучшего,
собрать,
отцедить,
чтоб, от радости плача,
стихи наши стали
навеки заучивать.
Ведь вот они —
эти последние сроки, —
задолженность молодости
стародавняя, —
чтоб в наши
суровые
дружные строки
сегодняшних дней
воплотилось предание.

## Маяковский рядом

Мне
и рубля
не накопили строчки...

*Маяковский, «Во весь голос»*

Не в приступе сожалений поздних
и не для того,
чтоб умаслить молву, —
боясь,
чтоб не вышел
великопостник, —
я начинаю эту главу.
Мне в Маяковском
важны — не мощи,
не взор,
горящий бесплотным огнем;

страшусь,
чтоб не вышел он
суше и площе,
чем жизнь —
всегда клокотавшая в нем.

Теперь,
на стене,
застеклен и обрамлен,
глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж
его яростный темперамент,
везде поднимавший
движенье и шум?
Разве
из этого матерьяла
он сделан,
что тащат биографы в ГИХЛ?
В нем каждая жилка
жизнью играла
и жизнью играть
вызывала других!

Но мало было игроков:
один — хоть смел,
да бестолков;
другой — хоть и толков,
да скуп:
навар —
на свой снимает суп...
Обычный вид:
соратник
тыщонок сто царапнет
и мчит,
зажав под мышку,
запихивать на книжку.
Устроились все
от велика до мала;
обшились, отъелись,
зажили на дачах.

Такая ли участь
его занимала —
зарытых костей
да зажатых подачек?
Он все продувал
с быстротою ветра;
ни денег,
ни силы своей — не жалел.
Он сердца валюту
растрачивал щедро.
Сердца — а не желе!

Не с тем,
чтоб пополнить
прорехи бюджета,
в заре,
наклоняя вихор к вихру,
мы с ним заигрывались
до рассвета
в разную карту,
в любую игру.
Он играл
на все,
что мнилось, пелось —
сердцу человечьему сродни.
Он играл
на радость и на смелость,
на большого будущего дни.
Ветерком рассветным обвеваем,
заполняя улицу собой,
затевал он игры
и с трамваем,
с солнцем, с башней, с площадью,
с судьбой.
Город спал,
тащились в гору клячи,
падал редкий сухонький снежок;
он сказал мне:
«После неудачи
пишется особенно свежо!»

Вкруг его фигуры
прочной, ладной
воздух накалялся до жары,
и летели
в празелень бильярдной
лунами мелькавшие шары.
Вкруг него
болельщики, арапы,
мазчики, маркеры и жучки
горбились, теснились —
поцарапать,
оборвать червончиков клочки.
Ну и шла ж игра!
Кии сгибались,
фонари мигали с потолка —
на огромно выпяленный палец,
на овал
тяжелого белка.
Все огнем текло:
партнеры, ставки
разной масти и величины;
разгорался
самый тугоплавкий;
были все
в игру вовлечены.
Кто-то
кофе пил в соседнем зале;
чьей-то рыбы блекла чешуя...
«Вы вдвойне идете!
Заказали?
Не платите:
отвечаю я!»

Суетится
один краснобай несвежий,
по брюшку цепочкой обвит...
Маяковский
в угол
крупного режет,
а тот ему под руку
говорит:

«Опускайся на дно.
понапрасну сил,
дорогуша моя,
не трать!»
Маяковский
плечом его отстранил
и продолжает играть.
«Ну, такого не сделать ему
нипочем!
Это вам —
не стишки писать!»
Маяковский
оттер его вновь плечом
и опять продолжает играть.
Наконец,
когда случилось рядом
стать, —
как будто видя в первый раз,
Маяковский
кинул сверху взглядом,
за цепочку взял его,
потряс...
Застыл остряк
с открытым ртом:
«Златая цепь на дубе том!»

Пишут,
бодрясь от вздыбленных слов,
усилием морща лоб,
и мелких статей
небогатый улов
бумажным венком — на гроб.
Что есть,
что нету их —
все равно:
любительское дрянцо.
А лучше всех его помнит
Арнольд —
бывший эстрадный танцор.
Он вежлив, смугл, высок, худощав,
в глазах — и грусть и задор;

закинь ему за спину
край плаща —
совсем бы тореадор.
Он был ему спутником
в дальних ночах;
бывают такие —
неведомы
в людской телескоп,
а небесный рычаг
их движет
вровень с планетами.
Он помнит
каждое слово и жест,
живого лица выражение.
Планета погасла,
а спутник — не лжец —
еще повторяет движение.

Собрались однажды
любители карт
под вечер на воле
в Крыму.
И ветер,
как будто входя в азарт,
сдувал
все ставки
к нему.
Как будто бы ветром —
счастья посыл
в большую его ладонь.
И Маяковский,
довольный, басил:
«Бабочки на огонь!»
Азарта остыл каленый нагрев;
на море — и тишь и гладь;
партнеры
ушли во тьму, озверев...
«Пойдем, Арнольд, погулять!»
«Пошли!»
«Давай засучим штаны,
пошлепаем по волне?»

«Идет!» — И вдаль уходят они
навстречу тяжелой луне.
Один высок,
и другой высок,
бредут — у самой воды,
и море,
наплескиваясь на песок,
зализывает следы...
Вдруг Маяковский
стал, застыв,
голову поднял вверх.
В глазах его
спутники с высоты
отсвечивают пересверк.
Арнольд задержался
в пяти шагах.
Спит берег, и ветер стих.
Стоит, наблюдает,
решает: «Ага!
Наверное, новый стих?»
Вдруг до них
из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-стый, золотой!»
Где-то лодка в море чалит,
с лодки — голос молодой,
и тревожит и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:
«Золотистый, золотой!» —
и окутывает душу
в свежий вечер теплотой.
И молчим мы
или спорим, —
замирая вдалеке,
все плывет она над морем,
не записана никем.
Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.

«Я б считал себя
законченным поэтом,
если б смог
*такую*
написать».

Все так же поют
соловьи в Крыму,
которых не услыхать ему.
Все те же горы
в сизом дыму,
которых не оглядеть ему.
Иудино дерево цветет,
розовое от пен.
А он под ним
никогда не пройдет,
отгрохотав,
отпев.
И столько новых
людей родилось,
что всех их
взглядом не охватить,
с которыми в жизни
не удалось
ни познакомиться,
ни пошутить.
А он —
с самим Ай-Петри шутил,
гудки пароходные понимал
и с самым жарким из наших светил
густой настой земли распивал.
И столько новых
событий и дел
построилось в мировой парад.
И без него,
крутясь, прогудел
над Барселоной первый снаряд.
И новые пчелы
несут свой мед,
и новые змеи
копят свой яд.

Но знает Земля,
что свое возьмет
над счетом горечей
и утрат.
Над синевой
углубленных рек,
над глубиной
плодоносных руд —
настанет он,
непреложный век,
где будет
сладок
и пот и труд!
Наступит он
со всей полнотой,
чей облик
нам лишь по песне
знаком,
кого мы звали:
«Приди, золотой!» —
своим пересохнувшим языком.
И голос-сокол
сойдет на низы,
неискореним и непобедим.
И мы его снова
услышим вблизи
совсем нерастраченным
и молодым.

## Косой дождь

А зачем
любить меня Марките?!
*Маяковский, «Домой!»*

Мы все
любили его за то,
что он не похож на всех.
За неустанный его задор,
за неуемный смех.

Тот смех
такое свойство имел,
что прошлого
рвал пласты;
и жизнь веселела,
когда он гремел,
а скука
ползла в кусты.
Такой у него
был огромный путь,
такой ширины шаги, —
что слышать его,
на него взглянуть
сбегались друзья и враги.
Одни в нем видели
остряка,
ломающего слова;
других —
за сердце брала строка,
до слез горяча и жива.

Вот он встает,
по грудь над толпой,
над поясом всех широт...
И в сумрак уходит
завистник тупой,
а друг
выступает вперед.
Я доли десятой
не передам,
как весел и смел его взгляд;
и — рукоплесканье
летит по рядам
строке,
попадающей в лад.
Ладони бьют,
и щеки горят...
Еще ли — усмешка коса!
За словом —
слова тяжелый снаряд
летит, шевеля волоса.

Советский недруг,
остерегись,
попятившись,
кройся вдаль, —
так страшно
голоса нижний регистр
надавливает педаль.
Все шире плечи,
прямей голова,
все искристее глаза...
Еще,
и еще,
и еще наплывай,
живительная гроза!
И вдруг —
как девушку
нежной рукой —
обнимет веселой строкой.
А это —
надобно понимать,
как девушек обнимать.

Он их обнимал,
не обижая,
ни одной
не причиняя зла;
ни одна,
другим детей рожая,
от него обид
не понесла.
Он их обнимал
без жестов оперных,
без густых
лирических халтур;
он их обнимал —
пустых и чопорных,
тоненьких
и длинноногих дур.
Те, что поумней
да поприглядистей,
сторонились:

не шути с огнем!
Грелись
у своих семейных радостей,
рассуждая:
«Нет уюта в нем!»

Что б из них
додуматься какой-нибудь
кинуться на шею
на века!
Может бы,
и не пришлось покойнику
навзничь лечь
на горб броневика.
Нет,
не кинулись.
Толстели,
уложив в конце концов
на широкие постели
мелкотравчатых самцов.
Может,
и взгрустнет иная,
воротясь
к себе домой,
давний вечер
вспоминая,
тайно от себя самой.
Только
толку в этом мало —
забираться в эту глушь...
Погрустила
и увяла:
дети,
очереди,
муж.

Нет!
Ни у одной
не стало смелости
подойти
под свод крутых бровей;

с ним одним
навек остаться в целости
в первой,
свежей
нежности своей.
Только ходят
слабенькие версийки,
слухов
пыль дорожную крутя,
будто где-то
в дальней-дальней Мексике
от него затеряно дитя.

А та,
которой он все посвятил,
стихов и страстей
лавину,
свой смех и гнев,
гордость и пыл, —
любила его
вполовину.
Все видела в нем
недотепу-юнца
в рифмованной
оболочке:
любила крепко,
да не до конца,
не до последней
точки.

Мы все любили его
слегка,
интересовались громадой,
толкали локтями его
в бока,
пятнали
губной помадой.
«Грустит?» —
любопытствовали.
«Пустяки!»
«Обычная поза поэта...»

«Наверное,
новые пишет стихи
про то или про это!»
И снова шли
по своим делам,
своим озабочены бытом,
к своим постелям,
к своим столам, —
оставив его
позабытым.
По рифмам дрожь —
мы опять за то ж:
«Чегой-то киснет Володичка!»
И вновь одна,
никому не видна,
плыла любовная лодочка.
Мы все любили его
чуть-чуть,
не зная,
в чем суть
грозовая...
А он любил,
как в рога трубил,
в других аппетит вызывая.
Любовью —
горы им снесены;
любить —
так чтоб кровь из носу,
чтоб меры ей не было,
ни цены,
ни гибели,
ни износу.

Не перемывать чужое белье,
не сплетен сплетать околесицу, —
сырое,
суровое,
злое былье
сейчас под перо мое просится.
Теперь не время судить,
кто прав:

живые шаги его пройдены;
но пуще всего
он темнел,
взревновав
вниманию
матери-родины.

«Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь».

Еще ли молчать,
безъязыким ставши?!
Не выманите
меня на то.
В стихах его
имя мое —
не ваше —
четырежды упомянуто.
Вам еще
лет до ста учиться
тому,
что мне
сегодня дано;
видите:
солнце
вовсю лучится,
а петушок уж пропел
давно!

Страна работала
не покладая рук,
оттачивала
острие штыка
и только изредка
вбирала сердцем звук

отважного,
отборного стиха.
Страна работала,
не досыпая снов,
бурила, строила,
сбирала урожаи, —
чтоб счастьем пропитать
всю землю до основ,
от новых городов
по древние Можаи.

Ей палки впихивали
в колесо
подъемного в гору движенья;
то там,
то здесь появлялось лицо
зловещего выраженья.
И желчный,
сухой,
деревянный смешок,
и в стеклышках —
тусклые страсти,
и трупный душок:
всю Россию в мешок —
лишь нам бы
добраться до власти.
Лицо это,
тайно дробясь и мельчась,
клубилось
в размноженном скопе:
то разом оно возникало,
то часть
его повторявшихся копий.
В нем прошлое
брать собиралось реванш
у нового
лозунгом злобным:
«Разрубим ребенка!
Не ваш и не наш!
Уйдем,
но — уж дверью-то хлопнем!»

Да, дел было пропасть.
Под тенью беды
куда уж там слушать «Про это».
Мутили ряды,
заметали следы
фигуры защитного цвета.

И вот,
покуда — признать, не признать? —
раздумывали, гадая,
вокруг него
поднималась возня
вредителей и негодяев.
«Кого?
Маяковского?!
Что за птица?» —
кривой усмешкою меряя...
Стихом к тупице
не подступиться —
слюной кипит в недоверии:
«Да он недоступен
широким массам!
Да что с ним Асеев
тычется!
Да он подбирался
к советским кассам
с отмычкою футуристической!»
А он любил,
как дрова рубил,
за спину
кубы отваливая;
до краски в лице,
до пули в конце
вниманье стиху вымаливая.

Как медленно
в гору
скрипучий воз
посмертной тянется славы!..
Обоз обгоняя,
взвиваю до звезд
его возносящие главы.

Мотор разорвется,
быть может,
в куски:
штормами
его укачало.
Но прошлого тропы
движенью — узки:
конец — означает начало.

### Площадь Маяковского

Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde.
*Маяковский, «Город»*

Нет, не она,
не площадь Согласия,
стала его настоящей женой,
и не в ее фонарей желтоглазие
сердце расплавлено и обожжено.
Другая,
глазу привычней и проще,
еще не обряженная в гранит,
еще в лесах строительных
площадь
имя его несет и хранит.
Когда на троллейбусе
публика едущая
услышит надсадный
кондукторшин крик:
«Площадь Пушкина,
Маяковского — следующая!» —
поймешь,
как город к нему привык.

Как стал он вхож
в людские понятья!
Как близок строчкой,
прям и правдив!

Ведь ни по приказу,
ни на канате
к себе не притянешь,
сердца обратив...
Читая,
начнешь стихи его путать, —
сейчас же
сто голосов —
на подсказ! —
как будто
не я,
а они
как будто
встречались с ним
по тысяче раз.

Ведь это
не выдумка барда бахвальная:
вот этот асфальт,
и эти огни,
и площадь —
не старая Триумфальная,
и — с Пушкиным рядом
встали они!
И все повседневней,
все повсеместней
становится —
миром
его родня.
Сюда он шагал
с Большой своей Пресни,
с шагов своих первых,
с мальчишьего дня.
Сюда по Садовым,
по Кудринским вышкам,
по куполам твердых
булыжных мозгов,
по снежным подушкам,
по жирным одышкам —
широких шагов
направлял он разгон.

Она
Маяковского площадью
названа;
не очень еще ее пышен уют;
и много народа, самого разного,
ее заполняют, толкутся, снуют.
Еще не обрушены
плоские здания,
но уже тем она
хороша,
что — въявь пределы ее
стародавние
раздвинула
новых привычек душа.
Две буквы стоят
квадратные, стро́чные,
как сдвоенный вензель печати ММ
как плечи широкие,
крепкие,
прочные
у входа —
открытого всем, всем, всем.
Москвы в нутро
ведет метро;
один вагон,
другой вагон;
а он на нем
не ездил;
не видел он
стальных колонн,
подземных ламп —
созвездий.

И — глянешь в пролет
обновляемых улиц:
не тень ли метнулась
широкой полы?
Не эти ли плечи
с угла повернулись?
Не шляпой ли машет
он издали?

Он здесь.
Он с нами
остался навечно.
Ему в людской густоте —
по себе.
Он — вон он — шагает,
большой и беспечный,
к своей неустроенной
славной судьбе!

Как он шагал,
как проходил,
как пробивался Москвою
шагом широким,
шагом большим, —
крупной походкой мужскою.
Ботинки номер сорок шесть!
Другим — вдвоем бы можно влезть
и жить уютно в скинутом,
согнув дугою спину там.
А он — не умел сгибаться дугою,
он весь отличался
повадкой другою, —
шагал,
развернувши
тяжелые плечи,
высокой походкою
человечьей.
И после каждого
его шага
метелью за ним
завивалась сага.

Однажды мы выехали
с Оксаной
вдвоем из гостей
по дорожке санной...
А он рядком
зашагал пешком,
подошвы печатая
свежим снежком.

Тогда еще в моде
извозчики были
и редко работали
автомобили.
Возница на клячу
чмок да чмок
и все же его
обогнать не смог.
И нас
на полсажня опередя,
дорогу под носом
у нас перейдя,
он стал
и палкой нам отсалютовал,
дескать: «Привет!
До свиданья! Покудова!»

И в этом жесте
мальчишеском, гордом,
который движенье и радость тапт,
хотел бы я,
чтоб стал он
над городом,
как в памяти нынче в моей
он стоит.
Стоял,
весельем
и силою вея,
чтоб так бы его
наблюдала толпа:
в пальтишке коротеньком
от Москвошвея,
в шапчонке,
сбитой к затылку со лба.
Вот так,
во всем и везде
впереди, —
еще ты и слова не вымолвишь, —
он шел,
за собой увлекая ряды,
Владимир Необходимович!

Но мысли о памятнике —
пустые.
Что толку,
что чучело вымахнут ввысь?!
Пускай эти толпы
людские густые
несут его силу,
движенье
и мысль.
Пока поток
не устанет струиться,
пока не иссякнет
напор буревой,
он будет в глазах
двоиться, троиться,
в миллионные массы
внедряясь живой.
На Мехико-сити,
в ущельях Кавказа,
в протоках парижского сквозняка —
он будет повсюду
в упор, большеглазо,
строкою раскручиваясь,
возникать.
И это —
не окаменелая глыба,
не бронзовой маски
условная ложь,
а вечная зыбь
человечьих улыбок,
сердец человеческих
вечная дрожь!

### Эпилог

Сегодня
с дерев срываются листья,
и угол меняет
земная ось,

и лес
как шуба становится лисья —
продут
и вызолочен насквозь.
И в свисте
этих порывов грубых,
что мусорный шлейф
подымают, влача, —
писатель
задумывается о шубах
и прочем отребье
с чужого плеча.
Писательство —
не искусство наживы,
и зря нашу жизнь
проверять рублем.
При этом
всплывут —
которые лживы,
потонут —
кто в строчку до слез влюблен...

А впрочем,
к чему предъявлять обвиненья, —
нужны организму
и нервы
и слизь.
Страна была — светом,
они были — тенью,
а свету без тени
не обойтись.
Пускай существуют,
меня не тревожа,
и если
о них я теперь и пишу, —
крепка моя сила,
груба моя кожа, —
я землю
для будущего пашу.
Чтоб новая
радостная эпоха —

отборным зерном человечьим
густа —
была от бурьяна
и чертополоха
обезопашена
и чиста.
Чтоб не было в ней
ни условий,
ни места
для липких лакеев,
ханжей
и лжецов,
для льстивого слова,
трусливого жеста;
чтоб люди людей —
узнавали в лицо.
Чтобы Маяковского
облик веселый
сквозь гущу веков
продирался всегда...
Им будет —
я знаю! —
Земли новоселы,
какая-то названа
вами
звезда.

*1936—1939*

### Знаменосец революции [1]

Чем дальше вглубь
уходят года, —
острей очертания лет, —
тем резче видишь,
какой он тогда
был

[1] Ниже следуют две дополнительные главы, написанные Н. Асеевым в начале 1950 года.

и остался
*поэт!*
Не только роста
и голоса сила,
не то,
что тот или та
влюблена, —
его
на вершине своей
выносила
людского огромного моря
волна.
Он понимал
ее меры могучесть;
он каплей в море был, —
но какой! —
стране поручив
свою звонкую участь,
свой вечно взволнованный
непокой.

Стихи до него
посвящались любви,
учили
любовные сцены вести.
А он,
кто землю б
в объятья обвил,
учил нас
высокой ненависти!
Ненависти
ко всему,
что на месте стало,
что в мясо
когтями вросло,
что новых страниц бытия
не листало,
держась
за прочитанное число.
Ненависти
ко всему,

что реваншем
грозило
революционной борьбе,
что в лад подпевало
и нашим и вашим,
а в общем итоге
тянуло к себе.
Зато и плевал он
на все прописное,
на все,
чем питалось
упрямство тупиц.
Его бы нетрудно поссорить
с весною,
за вид ее общепримерный
вступись!
Скривил бы губу он:
«Цветочки да птички?
В ежи готовитесь?
Иль в хомяки?
Весенние
тех привлекают привычки,
чьи не промокают в воде
башмаки!»

Ему
революции
были по нраву.
Живи —
он бы не пропустил
ни одной;
он каждой бы стал
знаменосцем по праву,
народным восстаниям
вечно родной.
Он был бы
с рабами восставшими Рима;
дубину взвивая,
глазами блестя,
он шел бы упорно
и непокоримо

на рыцарей
в толпах восставших крестьян.
С парижскими
сблизился б
санкюлотами,
за спины б не скрылся,
в толпе не исчез, —
пред Тьера огнем
озмеенными ротами,
он был погребен бы
на Пер-Лашез.
И снова
под знойною Гвадалахарою,
в атаке пехоты на Террихон,
восстанию верность
и ненависть ярую
на белых,
возникнув,
обрушил бы он.
Он был бы
отборных слов
полководцем
в Великой Отечественной войне;
он нашим
везде помогал бы бороться,
фашистам
ущерб наносил бы вдвойне.
Чтоб вновь,
вдохновляя
к победе влеченьем,
звучало зовущее слово:
«Вперед!»
Чтоб вырос
в своем величавом значенье
советского времени патриот.

Но что говорить
о том,
что бы было, —
он зова не слышал
тревожной трубы;

военное время
еще не трубило,
а шло исступленье
безмолвной борьбы.
«Идиотизм деревенской жизни...» —
великая мысль
этих яростных слов!
Вот в этом
кулацком идиотизме
немало запуталось
буйных голов.
У них песнопевцем
считался провитязь,
мужицкого образа
изобразист,
стихи обернувший
в березовый ситец,
в березах
укрывший
разбойничий свист.
Против Маяковского
выставлен в драке,
кудрями потряхивал,
глазом блистал,
в отчаянной выхвалке забияки
корову
подтягивал на пьедестал.
«Бессмертна
мужицкая жисть,
и, покуда
заветам отцов
она будет верна,
достанет и браги
у сельского люда,
и хлеба, и сена,
икон, и зерна...»
И, вкусам кулаческим
втайне радея,
под видом естественности
и простоты,
готовила

старой закваски
Вандея
обрезы, обломы,
кнуты и кресты.
Они,
в Маяковском почуя преграду,
взрывали петарды,
пускали шутих:
«Да он моссельпромщик!
Да ну его к ляду!
Он классики строгой
коверкает стих!..»
Так банда юродствующих
орала,
хлыстовски кликушествуя
о былом,
но, как их досада
ни разбирала,
они,
а не он,
обрекались на слом!

А он
доверял коммунизму свято.
Коммуна
к нему обращалась
на «ты»!
Не фраза,
не вызубренная цитата, —
*живые*
ее наблюдал он черты.
С ней близкою встречею
озабочен,
не в блеске парадов
и мраморных зал,
он памятник строил
курским рабочим,
он голос рабочих Кузнецка
слыхал.
По всем безраздельным
советским просторам,

и в жгучих песках,
и в полярных снегах,
он шагом гиганта,
упрямым и спорым,
хотел
в скороходах пройти сапогах.
Он ездить любил,
и летать,
и плавать;
он вихрился в поезде,
мчался в авто!..
Ни в чью
тихоходную,
мелкую заводь
его заманить
не сумел бы никто.
Огромны мечты,
беспредельна фантазия!
На стройке заводов,
дворцов,
автострад,
по вышкам строительства
яростно лазая,
он стих на подмогу
расплавить был рад,
чтоб строчки сверкали,
по-новому ярки,
чтоб слышал их даже,
кто на ухо туг,
чтоб пламя стихов
электрической сварки
любую деталь
освещало вокруг!
Он рад был
новой рабочей квартире,
леченью крестьян
в Ливадийском дворце,
всему,
что в советском прибавилось мире,
что рвалось вперед
в человеке-творце.

Он знал,
в чем сила народа-героя,
он чувствовал,
кто встает, величав,
в партийном содружье
советского строя,
в заветах Владимира Ильича.
И эти заветы
в последней поэме
без всякой напыщенности и лжи —
под марш пятилеток:
«Вперед, время!» —
простым языком
он сумел изложить.
И эти заветы
реальностью стали,
когда их
из планов, наметок и схем
года пятилеток
конвейером гнали
и сделали ныне
наглядными всем!

## Открытие Америки

Ко всему
прилагая советскую мерку,
он,
как сказочный,
созданный им же
Иван [1],
по-хозяйски
обмерить и взвесить Америку
перемахивает океан.
Океан ему нравится:
правильный дядя,
от кудрей белопенных
до донных пят;

---

[1] В поэме «150 000 000». *(Прим. автора.)*

и ложится строкой
в боевые тетради:
«...Моей революции
старший брат».
Океан —
он в трудах непрестанно,
бессменно...
Он плюет на блистанье
зеркальных кают,
и его
никоторые бизнесмены
Атлантическим пактом
не закуют.
С океаном
не раз им
беседовать запросто.
Океанского голоса
рокот и гром,
рев его несмиримости,
вечности,
храбрости
повторен Маяковского
вечным пером.
Океанский простор
пароходами вспахан;
волны — с дом:
слез с одной —
на соседнюю лезь.
Но
от приторно-постной
шестерки монахинь —
подступает морская болезнь.
Верхогляду
они только шуткой покажутся,
католическо-римской
смиренной икрой,
но в чертах лицемерия,
тупости,
ханжества
проступал уже
американский покрой.

Но еще не видать
воротил с Уолл-стрита:
пароход невелик,
пассажир — середняк.
И еще за туманом
Америка скрыта.
Маяковский с ней встретится
только на днях.

Путь к концу...
И уже, начиная с Гаваны,
потянуло удушливо сладким
гнильем:
то ли дух переспелый
ананасно-бананный,
то ли смрад от господ,
принимающих ванны,
прикрывающих плоть
раздушенным бельем.
Здесь,
какие бы дива
его ни дивили
и какой бы природа
цветной ни была, —
из-за пальм и бананов
увидел он Вилли,
у которого белым
разбита скула.
Черной с белою костью
приметил он схватку.
Как бы мог он
за негра
ударить в ответ!
Как лицо это наглое
мог бы он — всмятку!
Но нельзя:
дипломатия,
нейтралитет!

От Гаваны отчалили,
двинулись к Мексике...

«Раб», «лакей», «проститутка» —
гнилые слова,
уж давно потерявшие смысл
в нашей лексике,
здесь
опять предъявляют
свои права...
Трап опущен,
Он сходит с борта парохода.
Все чужое,
такое,
к чему не привык:
непохожи дома,
незнакома природа,
непонятны поступки,
несроден язык.
Мексиканские
широкополые шляпы,
плавность жестов,
точеность испанистых лиц...
Но повсюду Америки
тянутся лапы,
пальцы цепких концернов
в природу впились.
Дни ацтеков,
земля их забытых владений,
первобытной общины
уплывших веков...
Поезд мчится
меж кактусовых привидений,
южных звезд
и, как звезды,
больших светляков...
Ночь в вагоне.
Ларедо.
Подъезжаем к границе.
После долгих формальностей
визы даны.
Впереди
впечатлений пред ним
вереница,

но сгибается болью
и гневом страница
за индейцев —
исконных хозяев страны.
Спросят:
«Разве вы ездили с ним?»
Без отсрочки
объяснюсь:
«Да, ездил,
как еду сейчас!
Много лет
мне его дальнолетные строчки
помогают стремиться,
по времени мчась».

Наконец Маяковский
в стошумном Нью-Йорке.
На Бродвее светло —
электрический день.
А в порту,
подбирая окурки да корки,
безработицы клонится
тощая тень.
За границу езжали
и ранее наши;
приходили в восторг
от технических благ:
дескать, нету продукции
крепче и краше,
кроме той,
над которой Америки флаг.
Маяковский
глазами смотрел
не такими:
«Да, промышленность янки
наладить сумел,
выжимающую
потогонными мастерскими
соки прибыли
из человеческих тел».

Каждый шаг,
каждый миг
здесь на центы рассчитан.
Маяковский
грядущему
смотрит в лицо:
«Здесь последний оплот
безнадежной защиты
воротил капитала
и темных дельцов!»
И в конвейере шумов
без пауз,
распрямившись
во весь свой рост,
озирает он
Билдинг-хауз,
одобряет
Бруклинский мост.
Но куда бы ни поглядел он
и чего б ни привел
в пример:
«Это все
может лучше быть сделано
и разумней
в СССР».
Он на фордовских
мощных заводах
на рекламнейшем из производств,
где рабочим
в мертвецкой лишь отдых:
измотался —
к реке и — под мост!
Негры, шведы,
бразильцы, евреи...
Кто и как тут
друг друга поймет?
А надсмотрщик:
«Скорее!
Скорее!
Торопитесь!
Дело не ждет!»

Может, встретятся строчки
нежней и любовней
у поэтов,
поющих поля и леса.
Но страшней и короче
чикагские бойни
никогда никому
не суметь описать.
Он приметил
усталые лица,
черно-синие впадины глаз, —
как он мог
с этой жизнью смириться,
угнетенный
и преданный класс?!
Здесь свинцовый оттенок
впитала
кожа хмуро опущенных век.
Анонимного капитала
обезличенный раб —
человек!

Маяковский
сказал свое мненье:
«Нет!
Америка эта —
не та!
Делать деньги —
одно их стремленье,
их единственная мечта.
Не затем каравелла Колумба
подымалась
с волны на волну,
чтоб отсюда
бесстыже и грубо
экспортировали войну.
Пусть же
Морганы и Дюпоны,
придавившие горы горбов,
не рассчитывают на законы,
защищающие от рабов».

Ни фотоэлементов услуги,
ни дворцов их эйр-кондишен
не спасут
от кризисной вьюги,
если
весь их строй никудышен.
Перехлынет терпения мера,
швед бразильца и негра
поймет,
и дворца архимиллиардера
не сумеет спасти
пулемет.
В их зимних садах,
среди роз и левкоев,
придут опросить их,
побеспокоив;
придут,
чтоб сказать им
сурово и веско:
«Вам в суд всенародный
явиться —
повестка!
За то,
что бессмысленно жадны
и лживы,
вы мир предавали
во имя наживы».
«Кто ж судьи?» —
нас спросят.
Ответим, кто судьи:
«Те судьи —
простые Америки люди.
Кто избран
народною волей
единой.
Кто был присуждаем
судьею Мединой.
Двенадцать рабочих вождей
неподкупных,
пред кем столбенеет,
потупясь, преступник».

«К чему ж их присудят?»
«Не знаю,
не ведаю.
Я занят сейчас —
с Маяковским беседою.
На это бы
только он сам и ответил.
Ведь чистку такую
когда он наметил!
Великое он
завещал нам событие:
Америки новой
*второе открытие!*»

*1950*

## ПРИМЕЧАНИЯ

В 3-й том Собрания сочинений вошли стихотворения и поэмы 1930—1941 годов из следующих книг Николая Асеева:

### СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Большой читатель, «Федерация», М. 1932.
2. Обнова, Издательство писателей, Л. 1934.
3. Удивительные вещи, Гослитиздат, М. 1934.
4. Высокогорные стихи, «Советский писатель», М. 1938.
5. В раздел Стихи из разных книг собраны стихотворения, печатавшиеся в книгах Н. Асеева: «Москва — песня», Московское товарищество писателей, М. 1934; «Однотомник», Гослитиздат, М. 1936; «Избранные стихи», Гослитиздат, М. 1938; «Наша сила», Гослитиздат, М. 1939; «Зоревое пламя», Издательство «Правда», М. 1939; «Стихи», Гослитиздат, М. 1941; а также в коллективных сборниках, журналах и газетах за 1930—1941 годы.

### ПОЭМЫ

1. Гундоровский полк, «Обнова», Издательство писателей, Л. 1934.
2. Маяковский начинается, «Советский писатель», М. 1940; «Избранные стихотворения и поэмы», Гослитиздат, М. 1951 (дополнительные главы).

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТИХОТВОРЕНИЯ

*Большой читатель*
*(1932)*

Плакаты и лозунги



***Обнова***
***(1934)***

*Высокогорные стихи*
*(1938)*

*Стихи из разных книг*
*(1930—1941)*

ПОЭМЫ

**Асеев**

**Николай Николаевич**

**Собрание сочинений**

**том 3**

Редактор *Н. Крюков*

Художественный редактор
*Ю. Васильев*

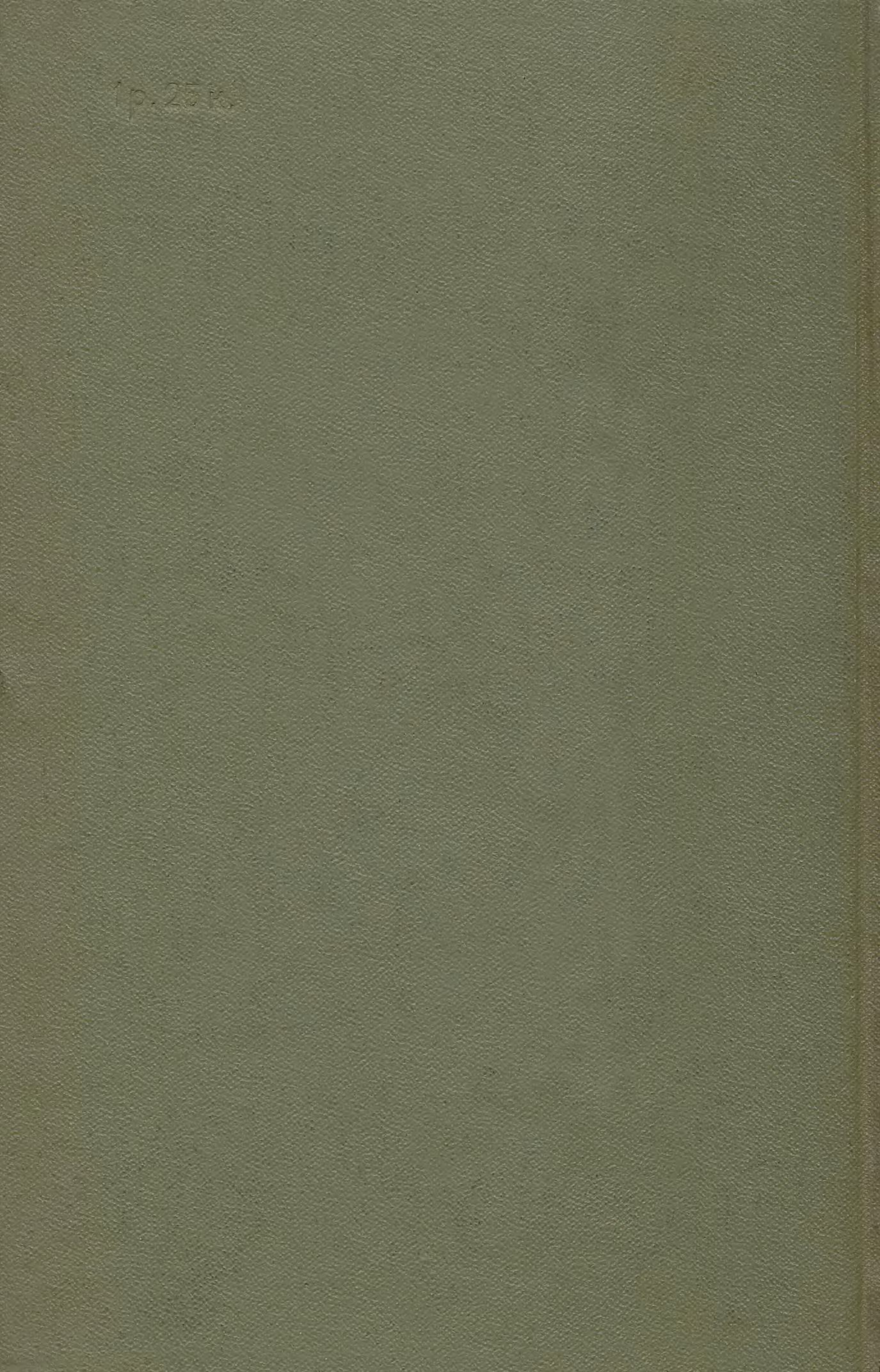
Технический редактор
*З. Евдокимова*

Корректоры *Р. Пунга* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 18/II 1964 г. Подписано к печати 4/VI 1964 г. А05349. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. 16,5 печ. л. 27,06 усл. печ. л. 24,05 уч.-изд. л. Тираж 27 000. Заказ № 895.
Цена 1 р. 25 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.


1 р. 25 к.